КОШМАР В БЕРЛИНЕ

Ханс Фаллада

Ханс Фаллада
Кошмар в Берлине

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40230379
Кошмар в Берлине: Синдбад; Москва; 2019
ISBN 978-5-00131-063-1

Аннотация

Послевоенная Германия, Берлин. Первые месяцы жизни города после поражения страны во Второй мировой войне. Нищий быт в разрушенном городе. Немцами владеет сложный комплекс чувств: национальное унижение, стыд и раскаяние за совершенные преступления, страх наказания, кошмарное ощущение себя объектом всеобщей ненависти… И в то же время любовь к своей сбившейся с пути стране, этому «больному сердцу Европы».

Герой Фаллады лично не повинен в военных преступлениях, но чувствует свою вину за слабость и безволие всей нации. Слушая отчеты Нюрнбергского трибунала о зверствах нацистов, он с содроганием говорит себе, что не знал всего этого, в глубине души понимания, что, даже если бы знал, то ничего не сделал бы, чтобы это предотвратить.

«Кошмар в Берлине» – горькое и честное свидетельство очевидца о самых позорных и трагичных страницах в истории немецкого народа.

Содержание

Часть I 5
Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 33
Глава 4 67
Глава 5 98
Конец ознакомительного фрагмента. 100

Ханс Фаллада
Кошмар в Берлине

Hans Fallada
DER ALPDRUCK

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2018.

Часть I
Крушение

Глава 1
Одно заблуждение

В эти ночи грандиозной катастрофы доктору Доллю редко удавалось заснуть по-настоящему, и в снах его преследовал один и тот же кошмар. Вообще спать они стали очень мало, терзаемые неизбывным страхом за свое тело и душу. Иной раз стемнеет, кончится очередной мучительный день, а они все сидят у окна и глазеют на лужайку, кусты, узкую бетонную дорожку, высматривают, не идет ли враг, – пока в глазах не появится резь и все не сольется в одно расплывчатое пятно.

Тогда один из них спрашивал другого:

– Может, пойдем спать?

Но вопрос, как правило, оставался без ответа. Они продолжали сидеть, смотреть и бояться. До тех пор, пока сон не наваливался на доктора Долля, подобно разбойнику, зажимающему рот и нос жертвы широкой ладонью. Или подобно густой паутине, которая вместе с воздухом забивается в глотку и обволакивает сознание. Не сон, а удушье…

Засыпать подобным образом – само по себе мерзко, но за этим отвратным засыпанием тут же начинался кошмар, всегда один и тот же. И вот что Долль видел.

Он лежит на дне чудовищной воронки, которую оставила бомба, – в размокшей желтой глине, на спине, вытянув руки по швам. Даже не поднимая головы, он мог видеть, как над воронкой нависают деревья и дома с пустыми глазницами окон. Тогда Доллю становилось страшно, что все это сползет вглубь воронки и раздавит его; но ни одна из грозных руин не двигалась с места.

Терзало его и другое опасение: что хлынут в воронку тысячи подземных ручейков и родников и забьют ему рот желтой глиняной жижей. И спасения не будет: Долль знал, что без посторонней помощи никогда наверх не выберется. Но этот страх тоже был безоснователен: он никогда не слышал, чтобы рядом журчали родники или бурлила вода, – в гигантской воронке царила мертвая тишина.

Имелось и третье пугающее обстоятельство – тоже вымышленное: над воронкой постоянно проносились стаи воронья, и он ужасно боялся, что они заприметят жертву, корчащуюся в грязи. Но нет, тишина оставалась мертвой: все эти кошмарные сонмы птиц существовали только в воображении Долля, он даже карканья не слышал.

Однако два факта вовсе не были плодом его воображения – это Долль знал наверняка. Во-первых, наконец наступил мир. Бомбы больше не рассекали с визгом воздух, не падали

снаряды; наступил мир, наступила тишина. Последний чудовищный взрыв швырнул его на дно воронки. И во-вторых, не он один низвергся в эту пропасть. Хотя он не видел и не слышал своих товарищей по несчастью, он был уверен: рядом с ним лежат все его близкие, и весь немецкий народ, и вообще все народы Европы – такие же беспомощные и беззащитные, как он сам, и терзаемые точно такими же страхами.

В этих бесконечных тягостных снах, в которых доктор Долль, днем такой деятельный и энергичный, растворялся, превращаясь в сплошной страх, в эти убийственные дремотные минуты он всегда видел кое-что еще. И вот что он видел.

На краю воронки молча восседает «Большая тройка». Даже во сне он называл этих троих прозвищем, которое война впечатала ему в мозг. Где-то в памяти болтались фамилии Черчилль, Рузвельт и Сталин, хотя иногда его грызло подозрение, будто бы что-то в этом ряду не так давно поменялось.

Все трое сидели рядом или, во всяком случае, неподалеку друг от друга. Они пришли из разных частей света, чтобы с немой скорбью вглядываться в чудовищную воронку, на дне которой, беззащитные, валялись в грязи Долль и его семья, и немецкий народ, и все народы Европы. Они сидели и смотрели, молча и печально, и Долль подспудно понимал, что «Большая тройка» напряженно размышляет, как бы ему, Доллю, а с ним и всем остальным помочь подняться, как из их поруганного мира вновь выстроить счастливый. Да, они напряженно размышляли, эти трое, а воронье летело над

успокоившейся землей, возвращаясь с полей сражений в старые гнезда, и родники неслышно журчали, и желтая глиняная жижа клокотала у самого рта.

Увы, Долль ничего не мог поделать: руки были вытянуты по швам, и оставалось только лежать и ждать, когда наконец «Большая тройка» очнется от печальных дум и вынесет какое-нибудь решение. Наверное, во всем этом кошмаре не было ничего мучительнее: опасности грозили со всех сторон, а он ничего не мог сделать, только лежал и ждал – без конца и без краю! Безжизненные фасады вот-вот рухнут на него, голодное до трупов воронье обнаружит беззащитных жертв, желтая грязь забьет им рты; а он ничего не мог сделать, мог только ждать. И кто знает – возможно, пока он и его близкие, которых он так любит, ждут, станет слишком поздно… Вдруг они уже погибли, погибли безвозвратно!

Прошло очень много времени, прежде чем ошметки этого удушающего кошмара наконец оставили Долля в покое; полностью освободился он от них лишь тогда, когда новый поворот жизни заставил его покончить с рефлексией и снова сделаться человеком дела. Но еще дольше Долль не мог поверить, что этот кошмар, порожденный его внутренними демонами, просто дурачил его и обманывал. Каким бы ужасным ни был этот сон, Долль верил, что в нем сокрыта истина.

Ему понадобилось очень много времени, чтобы понять: никто в мире не поможет ему выбраться из грязи, в которой он завяз. Ни одну живую душу, даже «Большую тройку», не

говоря уж о соотечественниках, не интересует доктор Долль. Захлебнется он в глинистой жиже – ну и что, кому какое дело! Никто о нем не пожалеет. Если он всерьез намерен снова работать и творить, это целиком и полностью его дело – преодолеть апатию, встать, отряхнуться от грязи и приняться за работу.

Но от этого вывода Долль в то время был еще очень далек. После того как наконец-то кончилась война, он долго мнил, что весь мир только и ждет, как бы протянуть ему руку помощи.

Глава 2
Другое заблуждение

Утром того самого 26 апреля 1945 года Долль впервые за долгое время проснулся в хорошем настроении. После многих недель и месяцев, когда они смиренно ждали конца войны, миг освобождения казался как никогда близок. Город Пренцлау уже взят, русские вот-вот придут; в последние дни над городом все кружат самолеты, и самолеты отнюдь не немецкие!

Но самое приятное известие Долль услышал поздно вечером: СС отступают, фольксштурм распущен, маленький город никто не собирается защищать от наступающих русских! У него камень с души свалился: вот уже несколько недель он из дому и носа высунуть не смел, опасаясь привлечь лишнее внимание. Он твердо решил, что в фольксштурм сражаться не пойдет.

Теперь, после этой обнадеживающей новости, он наконец отважился переступить порог дома, не опасаясь, что о нем скажут дорогие соседушки – из них по крайней мере трое могли видеть его участок из-за заборов и изгородей. Прекрасным весенним днем он вместе с молодой женой вышел на крыльцо. Пригревало солнышко, испуская приятное тепло – особенно здесь, в низине у воды. Юная зелень еще играла тысячами легких веселых оттенков, а земля, казалось,

набухла и ходуном ходила под ногами от плодородия.

Долль стоял с женой на крыльце и наслаждался погодой, как вдруг его взгляд упал на две длинные клумбы с многолетними цветами, которые тянулись справа и слева от узкой бетонной дорожки, ведущей к дому. На клумбах все тоже зеленело, а кое-что уже и зацветало: гиацинты, примулы, анемоны. Но это отрадное зрелище портили мотки драной проволоки, насаженной на мерзкие колышки и оскорблявшей своим уродством молодую поросль. Острые концы проволоки коварно топорщились, так что ходить по дорожке было небезопасно.

Едва взглянув на это безобразие, Долль воскликнул:

– Ну вот, сегодня мне есть чем заняться! Эта проволока меня давно раздражает!

Он принес клещи и тяпку и с воодушевлением принялся за работу, которую сам себе назначил.

Возясь на солнце, он поглядывал на соседские участки. Там царила необычная суета. Соседи, что ближние, что дальние, бегали туда-сюда, таскали чемоданы и мебель из сарая в дом и обратно, некоторые без видимой цели бродили с лопатой, наудачу втыкая ее в землю то тут, то там.

Один сосед торопливо выбежал на причал и остановился, сунув руки в карманы, словно у него внезапно выдалась свободная минутка. Затем что-то плюхнулось в воду, и сосед как будто бы невзначай, но ужасно воровато огляделся, проверяя, не наблюдают ли за ним (Долль тут же схватился

за тяпку), а потом пошагал, широко расставляя ноги, словно погрузившись в глубокую задумчивость, назад к дому, где тут же развернул какую-то новую активную деятельность.

Время от времени суета стихала. Соседи собирались кучками у сетчатых заборов, возбужденно шушукались. Через сетку летели большие свертки, а потом все снова разбегались, настороженно озираясь, и опять начиналась какая-то малопонятная колготня.

Долль, всего несколько месяцев живший в этом доме, принадлежавшем его второй жене, был исключен из общей суеты как «чужак», что не могло его не радовать. Вся эта таинственность, которую разводили в основном женщины да старики, была шита белыми нитками, и он презирал этот «бабий шабаш».

Однако долго наслаждаться уединением ему не пришлось: к нему на участок пожаловали две дамы, заклятые подруги жены. Эти особы, которых он на дух не переносил, остановились возле него, чтобы выразить свое удивление: дескать, в такой день вы находите время заниматься такой ерундой. Русские на пороге!..

Улыбаясь несколько насмешливо, доктор Долль, к которому вскоре присоединилась жена, объяснил, что расчищает дорогу именно для этих долгожданных гостей. В изумлении дамы осведомились: неужели он намерен дожидаться врага здесь? Едва ли это благоразумно – с двумя-то детьми, молодой женой и старенькой бабушкой! Здесь, на выселках

маленького городишки, все уже решено: как только наступят сумерки, жители на лодках переправятся на другой берег озера и укроются в лесной чаще, а там уже посмотрят, как будут развиваться события.

За Долля подругам ответила жена:

– Мы ничего подобного делать не собираемся. Никуда не уйдем и прятать ничего не будем. Мы с мужем встретим долгожданных освободителей на пороге собственного дома!

Дамы принялись горячо возражать, но чем больше они горячились, тем сильнее колебались сами, тем крепче сомневались в том, что в чаще леса действительно безопасно. Когда они наконец ушли, Долль с улыбкой сказал жене:

– Вот увидишь, ничего они не сделают. Еще пару часов покудахчут, как куры перед грозой, еще что-то припрячут, а что-то переложат. Но в итоге устанут, сядут где-нибудь в уголке и будут делать то, что мы все делаем уже не первую неделю: ждать спасителя.

Что касалось подруг, фрау Альма была совершенно солидарна с мужем; что же касалось ее самой, в ней бурлила энергия, и на месте ей не сиделось. После обеда она сказала Доллю, который, устав от непривычной работы, собрался прилечь, что быстренько съездит на велосипеде в город, пополнит свои запасы лекарств от желчных колик – а то в ближайшие дни такой возможности, быть может, уже не представится.

Долль засомневался: русские могли появиться в любой

момент, и лучше все-таки дожидаться их вместе. Но по опыту он знал: если жена что-то задумала, то как ее ни запугивай – отговорить не удастся. Под градом бомб в пылающем Берлине, под обстрелом с воздуха она неоднократно доказывала ему, что не ведает страха. Поэтому он промолвил с легким вздохом:

– Как знаешь! Счастливо, милая!

А когда она вскочила на велосипед и поехала прочь, проводил ее взглядом, с улыбкой опустился на кушетку и заснул.

Тем временем фрау Альма резво крутила педали, то в горку, то под горку, приближаясь к городку. Ее маршрут пролегал сначала по безлюдным тропам, вдали от человеческого жилья, затем по аллее, по обеим сторонам которой высились особняки. Тут она осознала, что на улицах ни души; а особняки – вероятно, потому, что все окна до единого закрыты ставнями, – казались нежилыми, будто все жители враз вымерли. Наверное, все уже убрались в лес, подумала фрау Долль и почувствовала, как в ней нарастает жажда деятельности.

Выехав на первую настоящую городскую улицу, фрау Долль наконец-то обнаружила хоть какие-то признаки жизни. У тротуара стоял большой вермахтовский грузовик, и несколько эсэсовцев помогали девушкам и девочкам взбираться в кузов.

– Девушка, скорее! – крикнул один из эсэсовцев фрау Долль. Тон у него был почти приказной. – Это последняя ар-

мейская машина! Больше из города никто не уедет!

Как и ее муж, фрау Долль была рада, что город сдают без боя. Но это не помешало ей ответить:

– Как же это на вас, говнюков, похоже – драпать, когда русские на подходе! Вы вели себя тут, будто хозяева города, ели и пили за наш счет, а едва запахло жареным – тут же даете деру!

Еще недавно, заговори она в подобном тоне с эсэсовцем, это плохо кончилось бы и для нее, и для ее семьи. Но похоже, за последние двадцать четыре часа положение в корне поменялось, так как эсэсовец ответил довольно мирно:

– Хватит молоть вздор – полезайте в машину! Передовой отряд русских танков уже в городе!

– Тем лучше! – выкрикнула фрау Долль. – Поеду им навстречу и скажу: добро пожаловать!

Налегла на педали и покатила в город, оставив позади, вероятно, последнюю вермахтовскую машину, которую видела в жизни.

И снова ей показалось, что она едет по заброшенному городу – может, и вправду все уже сбежали, а последними уедут те женщины, толпившиеся у вермахтовского грузовика. На улицах – ни людей, ни даже кошек или собак. Все окна закрыты, все двери словно забаррикадированы. И все же, когда она проезжала по улицам, приближаясь к центру города, ее не покидало чувство, будто это многосотголовое существо просто затаило дыхание, будто сейчас за ее спиной, где-

то совсем рядом испустит оно ужасный вопль мучительного ожидания и страха! Будто за всеми этими слепыми окошками прячутся люди, которые исступленно боятся того, что на них надвигается, и так же исступленно надеются, что жестокая война действительно кончится.

Это чувство усилилось при виде белых тряпок – судя по размеру, полотенец, – которые висели над некоторыми дверьми. И в этой потусторонней атмосфере, в которую фрау Долль погрузилась с минуты, когда въехала в город, она мигом поняла, что белые полотнища означают безоговорочную капитуляцию. Впервые за двенадцать лет она видела на домах какие-то еще знамена, кроме алых со свастикой. Поневоле она налегла на педали.

Но стоило ей завернуть за угол, как этот неопределенный, суеверный страх враз отпустил ее: она невольно заулыбалась. По ухабистой улочке маленького городка в хаотичном порядке двигались восемь или десять танков. По форме и головным уборам мужчин, стоявших в открытых люках, фрау Долль тут же определила, что танки не немецкие, что это тот самый передовой отряд русских танков, от которого ее предостерегали!

Но разве здесь нужны предостережения? В том, как эти танки катились в сиянии весеннего солнца – без труда въезжая на бордюр, с трудом протискиваясь мимо лип и возвращаясь на проезжую часть, – не было ничего грозного. Наоборот: происходящее казалось легкой, веселой игрой. Она не

испытывала ни тени страха. Лавируя среди танков на своем велосипеде, она спрыгнула там, где и собиралась, – у аптеки. В упоении от внезапно нахлынувшего чувства свободы, она даже не обратила внимания на то, что и на этой улице все дома трусливо заперты и забаррикадированы, а она единственная немка среди русских, из которых несколько человек вооружены автоматами.

Действо на улице было настолько диковинное, что фрау Долль с трудом оторвала от него взгляд и повернулась к аптеке, которая, как и другие дома, была надежно забаррикадирована и заперта. Ни на стук, ни на крик никто не отозвался. Секунду помешкав, она подскочила к стоявшему неподалеку русскому с пистолетом.

– Послушай, Ваня, – сказала она ему с улыбкой и за рукав потянула к аптеке, – открой мне, пожалуйста, магазин!

Русский равнодушным взглядом скользнул по ее улыбающемуся лицу, на миг ей даже стало как-то неуютно, словно на нее посмотрели как на стену или на зверюшку. Но это ощущение исчезло так же быстро, как возникло: русский не сопротивлялся, послушно подошел к аптеке и, мигом поняв ее намерение, пару раз громко стукнул прикладом автомата в филенку. В стеклянном окошечке над дверью показалась львиная голова аптекаря, старика за семьдесят: он испуганно высматривал, кто это колотит в дверь. Его лицо обычно жизнерадостного винно-багрового цвета было землисто-серым.

Фрау Долль покивала старику – дескать, смелее, откры-

вай! – и сказала русскому:

– Вот хорошо, спасибо большое! Ну, иди, иди.

Ничто не дрогнуло в лице солдата: не удостоив ее взглядом, он шагнул обратно на дорогу. Тем временем в замке повернулся ключ, и фрау Долль впустили в аптеку, где, кроме семидесятилетнего старика, находились также его жена, существенно моложе, и их младший ребенок лет двух-трех. Едва фрау Долль переступила порог, дверь за ней тут же заперли.

Хотя день, когда пришли русские, фрау Долль запомнила очень живо, в мельчайших подробностях, разговор в аптеке лишь смутно отложился в ее памяти. Да, лекарство ей аккуратно отмеряли, и она точно помнила, что от денег поначалу отказались, а потом взяли – уступив ее настояниям с какой-то неясной усмешкой, словно капризу неразумного дитяти. Но потом пошел какой-то вздор: дескать, ей ни в коем случае нельзя ехать домой – дорога неблизкая, кругом русские, пусть лучше останется в аптеке. А в следующее мгновение хозяева сами же выражали сомнение, насколько безопасно оставаться дома – может, лучше спрятаться в лесу. И вот уже они принимались сетовать, что не уехали на запад раньше… Словом, фрау Долль столкнулась здесь с теми же жалкими, бестолковыми бреднями изнуренных бесконечным, невыносимым ожиданием людей, которые слышались в те дни чуть ли не в каждом немецком доме.

Но здесь, в аптеке, под окнами которой катились танки,

это было особенно бессмысленно; уже поздно принимать решения – все решено, ожидание позади! К тому же фрау Долль пришла с улицы, с весеннего солнца, она проехала между танками, решительно схватила русского за рукав, и остатки суеверного страха покинули ее – она просто не могла больше слушать эту чепуху. Сухо попросив отпереть дверь, она вышла на улицу, обратно на свет, оседлала велосипед и поехала дальше в город, петляя между танками, которых становилось все больше.

Вероятно, фрау Долль последней видела аптекаря и его семейство в живых: через пару часов он дал яд жене и ребенку и отравился сам, безо всякой ясной цели и причины – в последний момент сдали истрепанные нервы. Сколько они вынесли за эти годы – и теперь, когда наконец-то появилась надежда на лучшее или, во всяком случае, уже точно не стоило опасаться худшего, они не выдержали неопределенности даже самого краткого ожидания.

Но та же самая аптекарская рука, которая так точно отвесила фрау Долль ее обезболивающее, подвела хозяина, когда он отмерял яд для себя и своей семьи: умерли только старик и малыш. Женщина после долгих страданий все-таки поправилась и – хотя и лишилась семьи – больше попыток самоубийства не предпринимала.

Альма Долль отъехала не очень далеко, когда ее внимание привлекла другая картина, заставившая ее вновь остановиться: перед самой большой в городе гостиницей толпилось

около дюжины детей – мальчиков и девочек лет десяти-двенадцати. Они смотрели, как едут танки, кричали и хохотали, а русские солдаты, казалось, их вообще не замечали.

Эта необузданная распущенность детей, обычно по-деревенски смирных, объяснялась просто: в руках они держали бутылки с вином. Как раз когда фрау Долль спрыгнула с велосипеда, из ворот гостиницы выскользнул мальчишка с непочатыми бутылками наперевес. Дети приветствовали своего товарища ликующими возгласами, напоминавшими вой волчьей стаи. Они небрежно побросали бутылки, которые держали в руках, на брусчатку, не обращая внимания, сколько в них осталось вина – доверху, до половины или на донышке, – и набросились на новые: лихо отбивая горлышки о каменные ступени гостиничной лестницы, они приникали к пойлу своими детскими устами.

Это зрелище привело фрау Долль в бешенство. И не только потому, что ей как матери противен был вид пьяных детей, – еще больше ее рассердило, что эти недоросли ведут себя по-свински в знаменательный день, когда в город вошла Красная армия. Почти бегом она кинулась к детям, повырывала из их ручонок бутылки и так щедро осыпала всю честную компанию оплеухами и тумаками, что через мгновение малолетних пьянчужек и след простыл.

Фрау Долль остановилась перевести дух. Вспышка бешенства прошла, и вот она уже почти радостно разглядывала покинутую жителями улицу, на которой, кроме нее самой,

были только танки и одинокие русские солдаты с автоматами. Затем она вспомнила, что пора бы выдвигаться домой, вздохнула легко и счастливо и направилась обратно к велосипеду. Но не успела она до него добраться, как дорогу ей преградил русский солдат: указывая на ее руку, он извлек из кармана сверток, который тут же и вскрыл.

Она посмотрела на свою ладонь и только теперь заметила, что порезалась, отнимая у детей бутылки: с пальцев капала кровь. Пока заботливый русский перевязывал ей руку, она дружелюбно улыбалась, а потом в знак благодарности похлопала его по плечу – он посмотрел отстраненно, даже не на нее, а сквозь, – села на велосипед и покатила домой, теперь уже без приключений. На том самом месте, где час назад стояла вермахтовская машина, уже были русские танки. Успела ли машина уехать? Наверное, фрау Долль этого никогда не узнает.

Когда она привезла мужу все эти новости, он, выслушав ее, лишь утвердился в своем решении встречать победителей и освободителей на пороге собственного дома. Но поскольку на их окраину русские могли прибыть в любой момент, Долль оборвал разговор с женой на полуслове и с непостижимым в столь судьбоносный час упрямством вернулся к прополке клумб, намереваясь снять и аккуратно свернуть остатки проволоки и выдернуть последние уродливые колышки.

Ни отъезд молодой женщины, ни ее возвращение не укрылись от обитателей ближайших участков. Скоро к Доллю по-

тянулись соседи – разумеется, у каждого находился уважительный повод, например, одолжить какой-нибудь инструмент. Глядя, как Долль работает, они пытались обиняками выспросить, зачем фрау Долль ездила в город и что там видела?.. На прямой вопрос, в таких обстоятельствах совершенно естественный, Долль тут же дал бы ответ, но это вкрадчивое, кошачье хождение вокруг да около было ему ненавистно – поэтому он даже не думал удовлетворять их плохо скрываемое любопытство.

Так бы и ушли соседи ни с чем, если бы не подоспела сама фрау Альма. Как женщине молодой ей не терпелось поделиться впечатлениями, тем более что впечатления эти внушали радость и надежду.

Ее рассказ произвел переворот в умонастроениях соседей: идея бежать в лес была отброшена. Все, как и Долли, решили сидеть дома и дожидаться освободителей. Кое-кто даже прямо заговорил о том, что хорошо бы водворить все спрятанное и закопанное на прежние места, дабы не оскорблять победителей недоверием. Но таких отступников тут же раздраженно обрывали родственники: «Ты не посмеешь, Ольга!» – «Что бы ты ни говорила, Элизабет, береженого бог бережет!» Или даже: «А мы ничего и не прятали, Минни, не выдумывай!»

Пуще всех разошлись двое стариков, которым уже перевалило за семьдесят: рассказ о детской попойке перед гостиницей разбередил их воображение. Сперва они пришли

в неописуемую ярость. Много недель и месяцев они ходили на поклон к хозяину гостиницы, чье заведение посещали с незапамятных времен, – и этот плут, этот мошенник, этот предатель собственного народа неизменно отвечал отказом на все просьбы уделить им бутылочку, да хотя бы бокал вина, уверяя, что у него самого ничего не осталось – дескать, все выглушили СС! А теперь выясняется, что вино у него таки было, и, похоже, немало, целый погреб, да поди не один – а от них эти припасы жульническим образом утаили, и теперь дети выливают вино на тротуар!

И старики стояли друг напротив друга, их лица, еще недавно серые от забот, до самых седых косм залил нежно-розовый румянец, словно отблеск того самого вымечтанного вина. Они хлопали друг друга по обвисшим за последние годы животам, на которых больше не трещали от натуги штаны, и выкрикивали названия своих любимых сортов. Один, маленький, всегда в зеленом охотничьем костюме, истово почитал мозельвейн; другой, длинный, вечно без пиджака, благоволил французским винам. При виде того, как они приплясывают, хлопают друг друга по животам и горланят, казалось, что они уже пьяны от вина, которого даже не пригубили. Полная неопределенность жизни, война, которая только-только заканчивалась, опасность, которая, возможно, всем им грозила, – все это было забыто, всякое воспоминание о прежних горестях вытеснила надежда разжиться выпивкой. Когда они, распалив друг друга, решили немедленно

отправиться в город с тележками и наложить лапу на незаконно сокрытое от них вино, они изрядно напомнили Доллю персонажей, которые прилаживались плясать на извергающемся Везувии.

Слава богу, у обоих имелись жены, и эти самые жены позаботились о том, чтобы запланированная экспедиция не состоялась – тем более что грохот тяжелых машин, отчетливо доносившийся из города через озеро, постоянно нарастал.

– Естественно, – сказал Долль, возвращаясь к своей проволоке, – если все повернется не так, как мы ожидаем, мы навсегда останемся виноваты в том, что они не ушли в лес. Впрочем, мы будем виноваты в любом случае, что бы ни произошло…

– Но я их не отговаривала и не уговаривала, – возразила его молодая жена.

– Какая разница, – отозвался Долль, тяпкой срывая с колышка проволочную петлю. – Главное, что наши дорогие соседи теперь нашли козлов отпущения на случай, если что-нибудь – что угодно – пойдет не так. – Он смотал проволоку. – Они нам ничего не спустят, будь уверена! Они и раньше во всех своих бедах винили окружающих, а не самих себя – вряд ли они вдруг изменят своим привычкам!

– Ну что же, от нас не убудет, – ответила молодая женщина с язвительной усмешкой. – Нас в этом городишке всегда не любили – а уж чуть больше или чуть меньше, какая разница?

Она кивнула мужу и ушла в дом.

Время до вечера тянулось мучительно долго. Снова они томились в ужасном ожидании, которое, как они надеялись, осталось позади – и как часто в грядущие дни и месяцы им еще предстояло ждать, ждать, ждать! Иногда Долль делал перерыв в работе и шел на берег озера, один или с женой: за гладью воды просматривался кусочек городской улицы. Они видели пустые, мертвые дома, без признаков человеческой жизни, и только доносился до их ушей непрекращающийся гул незримого обоза, который с жутким гудением, громыханием и воем катился через город на запад.

Наконец – уже начинало смеркаться – молодая женщина позвала всех в дом ужинать. Долль, который в последний час не столько работал, сколько притворялся, что работает, собрал инструменты, отнес их в сарай и умылся на летней кухне. Вся семья уселась за круглый стол, стоявший в углу: старенькая бабушка, Долль, его молодка и двое детей. Разговаривали за ужином только старушка и ее дочь. Дряхлая матрона, которая передвигалась с большим трудом и почти не вставала с кресла, жаждала узнать новости, а дочь в этот вечер охотно удовлетворяла ее любопытство (далеко не всегда она была в настроении это делать). Старушка выспрашивала подробности, требовала, чтобы одно и то же повторяли раза три, и засыпала дочь вопросами вроде:

– А она что сказала? А ты что на это? А она что ответила?

Обычно Долль прислушивался к прихотливому журчанию женских разговоров: его развлекало, как при каждом новом

пересказе одна и та же история преломляется в старенькой бабушкиной голове. Но за день от его хорошего настроения не осталось и следа, и он едва сдерживался, чтобы не оборвать этот «трындеж». Он знал, что это было бы несправедливо, но ведь и в несправедливости иной раз находишь удовлетворение.

И вдруг мальчик воскликнул вполголоса:

– Русские!..

С крыльца послышался шорох. Замолкнув, все смотрели, как открывается дверь и в комнату входят трое русских.

– Всем сидеть! – тихо приказал Долль и направился к гостям, вскинув левый кулак в знак приветствия.

Вслед за ним двинулась жена, которая приказ сидеть на месте не отнесла на свой счет. Долль наконец-то снова смог улыбнуться, напряжение и яростное нетерпение улетучились, ожидание кончилось, в книге судеб открылась совершенно новая страница… Он сказал с улыбкой:

– Товарищ! – и протянул гостям правую руку.

В его память навсегда впечаталось, как выглядели и вели себя первые трое русских, вошедших в его дом. Впереди держался стройный молодой человек с черной повязкой на левом глазу. Он двигался легко и проворно, от него исходило что-то светлое. Одет он был в синий китель, на голове – шапка из овчины.

По сравнению с его упругим, изящным станом тот, кто шел за ним следом, смотрелся великаном – казалось, он вот-

вот заденет головой стропила. У него было широкое землистое крестьянское лицо с густыми черными усами, в которых уже серебрилось множество седых прядей. Примечательнее всего в этом великане был короткий кривой кинжал в черных кожаных ножнах, висевших поперек серого кителя. Позади стоял третий – совсем еще юный, простодушного вида солдатик, с лицом, которое только начинало определяться. Под мышкой он сжимал автомат с изогнутой обоймой.

Таковы были эти трое русских – долгожданные гости, навстречу которым Долль шагнул, вскинув левый кулак и протянув правую руку, со словом «товарищ» на устах.

Но когда он это сделал, когда остановился перед гостями в этой позе, произошло нечто странное. Левый кулак опустился, правая рука Долля уползла в карман, и с его губ не слетело вновь слово, с помощью которого он пытался дать понять пришлецам, что им здесь рады. Улыбка растаяла, на лице отразилась мрачная задумчивость. Он опустил взгляд, устремленный на троих русских, и уставился себе под ноги.

Как долго эта сцена длилась – две, три минуты, а может, считаные секунды, – Долль впоследствии сказать не мог. Внезапно синий мундир протиснулся между ним и его женой и потопал вглубь дома; остальные двое последовали за ним. Ни герр, ни фрау Долль не двинулись с места: стояли молча, избегая встречаться глазами. А потом мальчик крикнул:

– Смотрите, опять они!

И правда, трое русских уже были на заднем дворе. Они

прошли через летнюю кухню, стремительно миновав всего каких-то четыре комнаты дома. Не задерживаясь и не оглядываясь, словно точно зная, куда идут, они миновали сарай, ступили на причал, забрались в лодку, отвязали ее и вскоре исчезли за прибрежными зарослями.

– Уплыли! – снова сообщил мальчик.

– Придут и другие! – заявила молодая женщина. – Это, наверное, первая проверка: в каком доме кто живет. – Она бросила быстрый взгляд на мужа, который по-прежнему стоял, засунув руки в карманы и погрузившись в мрачные раздумья. – Идем! – сказала она. – Надо скорее поесть, а то суп остынет. После ужина сразу уложим детей и бабушку спать. А сами еще немножко посидим. Чувствую я, сегодня вечером или ночью придут и другие.

– Наверняка, – согласился Долль и вслед за женой вернулся за стол. При этом он подумал, что даже голос у нее совершенно переменился: исчезла живость, с которой она рассказывала о своих дневных приключениях. Она тоже что-то заметила, подумал он. Но точно так же, как и он, не хочет об этом говорить. Вот и славно.

А потом он стал тешить себя мыслью, что жена, может, вовсе ничего и не заметила, а голос у нее зазвучал иначе потому, что им опять предстояло ждать – ждать следующих русских гостей. Ничего хуже ожидания не было сейчас для немцев, но именно оно им было уготовано – на дни, месяцы, а то и годы вперед…

Между бабушкой и детьми завязался оживленный разговор, в котором участвовала и молодая женщина. Естественно, речь шла в основном о трех визитерах, имевших столь пеструю наружность, какой они не привыкли видеть у своих, немецких солдат (или привыкли так давно, что уже не обращали внимания). И всех занимал вопрос: получат ли они назад лодку, вернут ли ее русские?..

Долль в этих разговорах не участвовал: за весь вечер он вообще не проронил ни слова. Слишком сильная буря бушевала в его душе. Лишь раз он спросил у жены:

– Ты обратила внимание, как они на меня посмотрели?

На что Альма – так же тихо и очень поспешно – ответила:

– Да брось ты! Тот русский у аптеки сегодня посмотрел на меня точно так же: будто я стена или животное.

Долль коротко кивнул, и больше супруги об этом не говорили – ни в тот день, ни после.

Но Доллю все представлялось, как он стоит перед этой троицей, на лице улыбка, на устах слово «Товарищ!», кулак вскинут, правая рука протянута для рукопожатия – как все это было фальшиво, как стыдно! Теперь он бы все сделал иначе – начиная с самого утра, когда он встал такой радостный и принялся копаться в саду, чтобы «расчистить» путь освободителям. Как он заблуждался!

И он еще пыжился перед соседями: дескать, я встречу русских на пороге своего дома и поприветствую их как освободителей. Вместо того чтобы задуматься о том, что поведала

жена, и сделать для себя кое-какие выводы, он лишь укрепился в своей нелепой, глупой позе. Вот уж правда, ничему он за эти двенадцать лет не научился – как бы ни верил в обратное, погрузившись в свои переживания!

Русские имели полное право смотреть на него как на мелкое, злобное, презренное животное – на этого нелепого типа с его неуклюжими попытками подольститься. Как будто приветливой улыбкой и плохо понятым русским словом можно враз перечеркнуть все то, что натворили немцы по всему миру за последние двенадцать лет!

Он, Долль, тоже немец, и он понимал, по крайней мере в теории, что с тех пор, как нацисты пришли к власти, с тех пор, как они стали преследовать евреев, слово «немец», изрядно замаранное еще в Первую мировую войну, с каждой неделей, с каждым месяцем теряло звучание и престиж! Как часто он говорил сам себе: «Никогда нам этого не простят!» Или: «За все за это нам рано или поздно придется расплачиваться!»

И хотя он отлично все это знал, знал, что слово «немец» во всем мире давно стало ругательством, – он сделал то, что сделал, в нелепой надежде, что русские гости поймут: существуют и «приличные немцы».

Все, на что он уповал, ожидая окончания войны, – все рассыпалось в жалкий прах под взглядами трех русских солдат! Он немец, а значит, принадлежит к самому ненавистному, самому презренному народу на всем земном шаре! Этот на-

род стоит ниже, чем самое примитивное племя из африканской глуши, – ведь оно не принесло на этот самый земной шар столько разрушений, крови, слез и горя, сколько принес немецкий народ. Долль смирился с тем, что, вероятно, не доживет до того дня, когда слово «немцы» очистится от скверны в глазах остального мира, что, возможно, его детям и внукам еще придется влачить бремя бесчестия отцов. Иллюзия, что хватит одного слова, одного взгляда – и другие народы сразу поймут, что не все немцы одинаково повинны в произошедшем, – эта иллюзия тоже развеялась.

И это чувство беспомощного стыда, которое часто сменялось затяжными приступами тяжелой апатии, не ослабевало с течением месяцев – нет, оно только усиливалось, и этому способствовали сотни разных мелочей. Позже, когда в Нюрнберге начался процесс против военных преступников, когда были обнародованы тысячи ужасающих подробностей и стал ясен чудовищный размах немецких преступлений, – все его существо противилось узнанному: он не желал больше ничего знать, не желал увязать еще глубже в этой трясине. Нет! – одергивал он сам себя. *Этого* я не знал! Что все настолько ужасно, не подозревал! Моей вины тут нет!

Но потом он опоминался. Он не желал снова поддаваться трусливому самообману, не желал снова стыдливо переминаться с ноги на ногу в собственном доме – хозяин, по праву презираемый гостями. Врешь! – говорил он сам себе. Я видел, как начинались гонения на евреев. Впоследствии мне

часто приходилось слышать, как обращаются с русскими военнопленными. Может, в глубине души я и негодовал, но я палец о палец не ударил, чтобы этому помешать. И если бы все, что я сегодня знаю о немецких зверствах, я знал и тогда – вполне вероятно, что я бы все равно сидел сложа руки, бурля беззубой ненавистью…

Доллю пришлось проделать большую внутреннюю работу, чтобы признать: он тоже грешен, тоже виновен и, будучи немцем, не имеет больше права на равенство с другими народами. Его будут презирать, и он это презрение заслужил. А ведь он всегда собой гордился, назаводил четверых детей, и им еще расти и расти, учиться самостоятельно думать, но они уже многого ждут от жизни – и на какую жизнь обречены!..

О, как хорошо Долль понимал своих соотечественников, когда снова и снова слышал или читал, что немалая часть немецкого народа впала в полнейшую апатию. Наверняка многие чувствовали себя так же, как и он. И себе, и им он желал сил вынести все то, на что они отныне осуждены.

Глава 3
Покинутый дом

Внешне жизнь Доллей существенно изменилась уже в первые дни после прихода победоносной Красной армии. Они, как и все остальные, привыкли сидеть дома и заниматься своими делами, а теперь русские объявили всеобщую рабочую повинность, и волей-неволей пришлось подчиниться, чтобы заработать свой кусок хлеба – и поначалу это был очень маленький кусок. Не было еще семи, когда супруги выходили из дому и тащились в город на сборный пункт. По пути к ним часто присоединялись соседи, но чаще всего им удавалось избавиться от спутников и остаться вдвоем, к чему они так привыкли за годы брака.

Так они и шагали сквозь свежее майское утро: Долль был погружен в свои мысли и вполуха слушал болтовню жены, время от времени роняя «да-да» или «так-так» – этого вполне хватало. За способность тараторить без умолку Долль некогда окрестил жену «мой прибойчик». Ее лопотание напоминало ему о давних прогулках по побережью, когда море постоянно шумело рядом.

Но едва они приходили на сборный пункт, которым служил школьный двор, привычному уединению приходил конец, и «прибойчик» затихал: мальчиков и девочек строили, пересчитывали и переписывали отдельно, после чего посы-

лали на разные работы. Если повезет, при отправке удастся крикнуть друг другу, кого куда назначили, кто чем будет занят весь этот длинный день, который предстоит провести в разлуке. «Я иду убираться!» – крикнет она. А он в ответ: «Мешки ворочать!» Позже всех распределили на постоянные работы: он сделался пастухом, а она – носильщицей.

Часто бывало, что встречались они только поздно вечером: оба были измучены непривычной работой, но оба старались, чтобы супруг этого не заметил. Он с иронией рассказывал о трудностях своей пастушьей жизни: коров в стаде больше тысячи, все они из разных коровников и единым стадом себя не чувствуют, а потому все время норовят разбрестись кто куда или поживиться посевами зерновых. Вообще-то пастухов было восемь человек, но его коллеги предпочитали торчать на одном месте и чесать языками. Они вели настоящие мужские разговоры: неужели так и дальше пойдет, а ведь выдаваемого хлеба и одному человеку мало, не говоря уж о целой семье, да уж, иначе мы представляли себе мирное время, да еще нацисты опять стараются занять местечки потеплее – совершенно бессмысленный треп, безмерно Долля раздражавший.

Тем временем стадо разбредалось, перебиралось из зарослей мышиного горошка в посевы ржи, и Долль носился как угорелый за всей этой тысячей коров, швырял в них камни, охаживал дубинкой и в конце концов, выбившись из сил и совершенно измучившись, садился на камень отдышать-

ся, огорченный, возмущенный и отчаявшийся. Тут как раз и появлялся русский верховой, чтобы проверить пастьбу. Остальных пастухов, которые с умом выбирали себе место точить лясы и издалека видели верхового, проверяющий заставал за работой, а измотанного Долля сурово отчитывал за леность. Но тот не мог заставить себя поступать так же, как другие. Манеру работать только для отвода глаз, а на самом деле ничего не делать, он считал отвратительной – как это типично для солдатского взгляда на жизнь, где даже «тепленькое местечко» снискивает уважение!

Хорошего в этих пастушеских буднях было немного – разве что, загнав вечером скот, пастухи, даром что целый день чесали языками, имели право явиться к украинским молочникам с бидоном любой величины, который те до краев наполняли молоком. Поэтому дома у Долля по вечерам ели суп, который и стару и младу шел на пользу.

Впрочем, что касалось добычи съестного, вклад фрау Альмы в прокорм семьи был гораздо больше, а ее сноровка явно превосходила сноровку мужа. Ей – а также еще тремчетырем десяткам женщин и девушек – было поручено перетаскать продовольственные запасы из части, которую прежде занимали СС, в большой амбар при железной дороге. Путь был неблизкий, и мешки часто бывали набиты всякими тяжестями, так что женщины надрывались под непосильной ношей.

Но наибольшее негодование вызывало то обстоятельство,

что все эти мясные консервы, жестянки с маслом, сыром, молоком и сардинами, банки молотого кофе, бруски спрессованного листового чая, коробки с шоколадным порошком (а также батареи винных и коньячных бутылок и бесчисленные пачки курева) – да, женщин-носильщиц возмущало до крайности, что все это продуктовое изобилие много лет утаивалось от бедствующих женщин и голодающих детей – детей, из которых многие ни разу в жизни не пробовали шоколад. И ради чего? Чтобы запихать все это в ненасытные глотки наглых, властных молодцев из СС, которым Германия была обязана изрядной долей своих несчастий.

С тех пор как дети хлестали вино из бутылок, стоя перед самой крупной гостиницей города, большая часть населения усвоила новое представление о собственности: люди считали, что все эти продукты причитаются им по праву. Сколько времени корыстолюбивые, жадные торговцы их обделяли – теперь они имеют полное право взять то, что само просится в руки! Дорога от эсэсовской части была длинная, непосильная ноша давила на спину: то и дело какая-нибудь женщина скрывалась в зарослях у дороги, а когда вновь появлялась и вместо головы растянутой колонны, где шагала раньше, пристраивалась в ее хвост, мешок был полон уже на три четверти, зато в кустах был припасен ужин для целой семьи.

Фрау Альма была не щепетильнее своих товарок: ее, как и большинство других, дома ждали дети, которые давно изголодались по жирной пище и тоже были не прочь узнать, ка-

ков на вкус шоколад с молоком. Как и другие женщины, она делала тайники в кустах, а когда заметила, что либо ее товарки, либо те, кто наблюдал за ними издалека, еще до конца рабочего дня успевают в эти тайники запустить лапу, стала еще смелее. Спрятавшись в кустах, она пропускала всю колонну. Как только хвост колонны скрывался из виду, она спешила к знакомым, жившим неподалеку, и там оставляла весь мешок – его содержимое потом делилось между двумя семьями. А когда колонна возвращалась назад, она уже поджидала в кустах и потихоньку затесывалась в толпу женщин с пустым мешком в руках.

Разумеется, товарки не могли не заметить ее отсутствия – они подначивали и подкалывали Альму; но, поскольку все занимались примерно одним и тем же, ей все сходило с рук. Что же до русского конвоя, шагавшего в голове и в хвосте колонны, они происходящего то ли не замечали, то ли не желали замечать. Вероятнее все же второе: все они наверняка знали, что такое точащий голод, и проявляли великодушие – пусть даже по отношению к ненавистному им народу, который их собственных жен и детей морил голодом безо всякой жалости.

А вечерами Альма сидела с мужем и, пока на самодельной печке варился «его» молочный суп, она при свечах – электричества больше не было – хвасталась своей добычей. На первое теперь всегда были бутерброды с сардинами, а на второе молочный суп, в который добавляли шоколадный поро-

шок. Они не ели, а жрали, до отказа набивая животы, – все, от пятилетней Петты до старенькой бабушки, которая еле ходила. Они не думали ни о последствиях переедания, ни о беспокойном сне, который и без того не приносил отдохновения, – не думали ни о завтрашнем дне, ни о том, что неплохо бы что-нибудь припасти на будущее. От мыслей подобного рода их отучили годы бомбардировок. Они вновь стали детьми, которые живут сегодняшним днем, не думая о том, что будет завтра, – вот только детскую невинность они давно утратили. Эти двое, пастух и носильщица, были выкорчеваны из привычной почвы: прошлое ускользало от них, а будущее было слишком туманно, чтобы отягощать себя думами о нем. Безо всякой цели они дрейфовали туда, куда нес их поток жизни, – а зачем люди вообще живут?

Шел ли Долль рано утром с женой на работу, спешил ли вечером домой с пастбища, путь его всегда пролегал мимо большого серого дома с вечно закрытыми ставнями, который производил отталкивающее и мрачное впечатление. На двери висела латунная табличка: она давно поблекла от старости, во вмятинах скопилась зелень. На табличке значилось: «Доктор Вильгельм, ветеринар».

Когда Долль с женой впервые после великого перелома проходили мимо этого угрюмого дома, Альма сказала:

– Он, кстати, тоже покончил с собой – ты слышал?

– Да… – пробормотал Долль, и по его тону было ясно, что он не хочет это обсуждать.

– А вот я, – гневно воскликнула Альма, – а вот я рада, что этот старый хрен сдох! Ух, как я его ненавидела – до сих пор вспомнить тошно…

– Ну ладно, ладно, – перебил ее Долль. – Он умер, пора о нем забыть. Не будем больше об этом.

И они действительно больше об этом не говорили, а когда проходили мимо заброшенного дома, доктор Долль демонстративно отворачивался, в то время как его жена окидывала жилище ветеринара сердитым или насмешливым взглядом. Их поведение красноречиво говорило о том, что забвением тут и не пахнет; да они и сами прекрасно знали – хоть и молчали, – что забыть не смогут и не захотят. Слишком уж много огорчений причинил им ныне покойный ветеринар доктор Вильгельм.

На табличке он гордо именовал себя ветеринаром, а на деле был таким трусом, что едва ли хоть раз отважился подойти к больной лошади или корове. Для крестьян это не было тайной, поэтому звали его разве что свиней от рожи привить – так и прилепилось к нему прозвище «Виллем-поросъ». Это был крупный, тяжеловесный мужчина за шестьдесят, с землистым лицом, на котором застыла гримаса омерзения, будто он все время ощущал на языке привкус желчи.

Этот самый ветеринар был совершеннейшей посредственностью, но один-единственный талант у него все же имелся – тончайший вкус к винам. Шнапс и пиво он тоже пил, но только ради алкогольной составляющей, так как давно превра-

тился в так называемого «выпивоху»: потреблял умеренно, но регулярно. Однако к вину он питал настоящую страсть, и чем лучше был сорт, тем больше радости он приносил доктору Вильгельму. Даже желчные складки на его лице разглаживались, и появлялась улыбка. Для человека с его доходом это было весьма дорогостоящее увлечение, но он ловко ухитрялся раздобыть желаемое.

После пяти вечера ничто не могло удержать его дома: даже самый экстренный вызов не заставил бы его пойти к больному животному. Он брал трость, надевал тирольскую шляпу с кисточкой и штаны три четверти и торжественно шествовал по улице, широко расставляя ноги.

Первым делом доктор Вильгельм – Виллем-порось – заходил в расположенный неподалеку трактир, с которого исправно собирал винный оброк, пока жив был хозяин, сам большой любитель выпить. После его смерти заправлять трактиром стала вдова, но постепенно дело взяла в свои руки младшая дочь, девушка весьма своенравная и никогда не церемонившаяся с теми, кто ей не нравился, – а ветеринара доктора Вильгельма она сильно недолюбливала.

Эта самая дочь, к превеликому огорчению ветеринара, все чаще вместо заказанной бутылки приносила лишь бокал, в то время как на другие столики бутылки очень даже подавала. А если он начинал возмущаться, кривя желчно-горький, щелкунчиковый рот и выговаривая слова, по своему обыкновению, длинно и врастяжку, она тут же срезала его сво-

им быстрым, острым язычком и заявляла: «Вы требуете вина каждый день, а другие время от времени – вот и вся разница! Еще не хватало, чтобы вы в одну глотку выглушили все наши запасы!»

Или вообще ничего не отвечала. Или говорила, хватаясь за бокал: «Ну, раз бокал вам не нужен, я его, пожалуй, унесу. Выпивать его вы вовсе не обязаны!» Одним словом, она изо дня в день ясно давала ему понять, что он со своей страстью к выпивке целиком и полностью зависит от ее настроений. Но как бы она ни бранилась и как бы мало ни наливала, он лишь горько вздыхал и на следующий день являлся снова: он давно потерял и стыд, и чувство собственного достоинства.

Потом ветеринар, так же величественно ступая широко расставленными ногами, через полгорода следовал из трактира к местному вокзальчику и без нескольких минут шесть вступал в зал ожидания второго класса. Там ему часто везло: среди завсегдатаев, в число которых входил и он сам, нередко удавалось встретить местного богатого зерноторговца, который охотно угощал его вином. И даже если тот сидел за отдельным столиком с одним или несколькими гостями, ветеринар и тогда к нему подходил, осведомлялся серьезно: «Разрешите?» – и чаще всего его приглашали присоединиться к компании. Тут доктор Вильгельм пускал в ход другое свое умение: у него имелся изрядный репертуар грубых деревенских шуточек и баек, которые он рассказывал на настоящем, исконно-посконном нижненемецком. Эти анекдоты

вызывали целые взрывы хохота, в то время как его желчная физиономия оставалась каменной, что усиливало комический эффект и поднимало клиентам зерноторговца настроение.

В общем и целом в вокзальном буфете ветеринару всегда удавалось чем-нибудь да поживиться. Он захаживал туда уже не один десяток лет. Не один десяток лет с шести до восьми он сидел за одним и тем же столиком, в первое время с женой, после ее смерти – один. Буфетчик Курц тоже его не очень-то жаловал, но все же у него не поднималась рука совсем не угостить старого знакомого.

Когда наступал час ужина, зал ожидания стремительно пустел, и доктор Вильгельм отправлялся дальше. Каков будет улов в главной гостинице города, предсказать было невозможно: иной раз ему перепадало немало, иной раз почти ничего. Хотя вино в этом заведении разливали пока еще щедро, но хозяин очень уж любил деньги и считал, что чем их больше, тем лучше. Даже когда от денег не стало никакого проку, потому что на них все равно ничего нельзя было купить, хозяин продолжал взвинчивать цены, так что даже одна-единственная бутылка стала не по карману прививателю свиней, чей дневной заработок зачастую не дотягивал и до пяти марок.

Так что доктору Вильгельму оставалось лишь уповать на удачу; бывало, он часами просиживал над кружкой разбавленного пива – дань военному времени, – и ревниво погля-

дывал на офицеров СС, которые хлестали бутылку за бутылкой. Они никогда не приглашали его за свой стол – СС вообще всегда держались на расстоянии от простого народа. И когда командир местного гитлерюгенда, которому не исполнилось еще и двадцати, дегустировал со своей девчонкой десертные вина – здесь тоже не было спроса на старого врача с его анекдотами.

Для старого алкоголика, для которого выпивка давно стала жизненной необходимостью, это были тяжелые часы. Когда время шло, наступала ночь, гости орали все более пьяными голосами, и седовласый хозяин с увещевающей улыбкой напоминал о полицейском часе… Когда он вынужден был смириться, что этим вечером ему уже точно ничего не обломится – а ведь многие на его глазах так славно наклюкались… Когда, заплатив за пиво, он пересчитывал жалкие гроши и купюрки, завалявшиеся в кармане – может, хоть на рюмашку шнапса хватит, – и знал заранее, что не хватит… Когда он наконец с тяжелым, злым вздохом брал палку и шляпу и во тьме брел домой… И когда он думал о предстоящей ночи: без дурацких таблеток опять не заснешь – а ведь какие божественные, полные восхитительных грез сны дарит алкоголь… Тогда его кожистое лицо делалось еще желтее, его терзала зависть ко всему миру: да гори он синим пламенем, если ему за это перепадет хоть одна бутылка вина!

Но бывали в жизни старого ветеринара и более счастливые часы. В гостинице вдруг появлялись люди, приехавшие

в этот почти не тронутый войной край отдохнуть или порыбачить, – и они с удовольствием слушали его байки. Или какой-нибудь фермер видел пригорюнившегося старика, внезапно вспоминал, как давно не звал его к своим свинкам, и, мучимый совестью, приглашал Виллема-порося за свой стол, толковал с ним о том о сем и наливал понемножку – ведь его слабость всем была известна.

Но лучше всего, когда в гостинице затевались большие посиделки завсегдатаев. Случалось это, к сожалению, один, самое большее два раза в месяц – когда господин участковый судья приезжал из районного центра, чтобы разобрать дела, накопившиеся в маленьком городишке. Хозяин гостиницы тут же бросался к телефону и звонил местному землевладельцу, зубному врачу, поставщику сельхозпродукции и господину доктору Доллю. Звать ветеринара нужды не было – он и так каждый вечер приходил.

Как Долль затесался в эту пеструю компанию, он и сам не мог объяснить. По первости – много лет назад, еще во времена его первого брака, когда он хозяйствовал на небольшой ферме неподалеку от города, – так вот, по первости в нем будили любопытство эти разношерстные собутыльники, а особенно – их рассказы: на этом поприще более всего блистал старый судья, значительно превосходивший ветеринара, чьи шуточки часто бывали грубоваты, а то и вовсе вульгарны. Но очень скоро Долль понял, что все это люди совершенно заурядные. Уже на второй вечер старый судья начинал повто-

ряться: у него этих баек-то было всего штук десять или двенадцать, зато пересказывать их он готов был до умопомрачения. К тому же чем дальше, тем отчетливее проявлялась его страсть поесть на дармовщинку и обсчитать обслугу. Зубной врач говорил только о женщинах, работа была для него лишь поводом поприставать к лежащим в зубоврачебном кресле клиенткам, – ну а ветеринар был просто старый пьяница, становившийся все жаднее и тупее с каждым днем.

Вот такая собиралась компания. Плоский, пошлый сброд – да еще хитрый как лиса хозяин гостиницы, который только о деньгах и думал. Нет, Долль являлся далеко не всякий раз, когда ему звонили, – и тем не менее являлся часто: иной раз хотелось пропустить стаканчик-другой, к тому же он тоже любил хорошее вино, а его деревенское окружение было еще более ограниченным, чем эта компания. Он приходил, и пил, и разыгрывал великодушного хозяина, так как в те времена деньги у него водились, и угощал всех, от жадного ветеринара до осторожного судьи. В особо удачные вечера толстый, седовласый хозяин залезал в самый потаенный угол своего погребка и приносил бутылку бургундского, покрытую толстым слоем пыли, или шампанское *«Mumm extra dry»*. К красному вину он подавал великолепный сыр – безо всяких талонов! – и они прямо руками таскали с тарелки тортообразные куски. В эти часы старый ветеринар блаженствовал, и его дружба с Доллем казалась нерушимой.

Но все изменилось в одночасье, и рухнула мужская друж-

ба, как водится, из-за женщины. Где старый судья познакомился с этой юной хохотушкой, осталось покрыто мраком; так или иначе, однажды вечером, когда доктор Долль с некоторым опозданием явился на веселую пирушку, за столом сидела жена берлинского фабриканта, который на берегу одного из здешних озер поставил сруб, чтобы приезжать на рыбалку по выходным.

Но в тот вечер фабрикант остался в Берлине, и его молоденькая жена оказалась за столом одна среди мужчин: потряхивала светло-рыжими кудряшками и к каждому, кто начинал что-нибудь рассказывать, обращала свое чуть продолговатое лицо, а главное, свой алый ротик – казалось, будто этот ротик тоже внимательно смотрит на людей. Затем она запрокидывала голову, и ее маленький белый кадычок танцевал от смеха – силы небесные, как же она смеялась, боже, как же она была юна! Оттеснив старого ветеринара, Долль подсел поближе к этой невероятной молодости, так что девушка оказалась на длинном угловом диванчике между Доллем и старым судьей.

Как она была юна, какая жизнь бурлила в этом создании, как заразительно она хохотала над дурацкими россказнями судьи! Долль тоже принялся травить байки: уж что-что, а рассказывать он умел. Это был не готовый, затверженный репертуар, как у судьи и ветеринара, нет – истории из разных периодов жизни всплывали в памяти Долля, и он вновь переживал их словно в первый раз. Он говорил все быстрее,

перебивал сам себя, никому слова не давал сказать – и все требовал еще вина, вина, вина!

Вечер удался на славу. Мужчине на излете пятого десятка всегда приятно, когда двадцатилетняя красавица дает ему понять, что он ей интересен. Однако, несмотря на присутствие столь заинтересованной слушательницы, Долль не утратил своей обычной наблюдательности и не мог не заметить, что старый ветеринар, пользуясь тем, что Долль сидит к нему спиной и погружен в оживленную беседу, не теряет времени даром. Ветеринару давно уже стали безразличны и байки, и женщины – его интересовал только алкоголь. Алкоголя на столе было предостаточно, но Виллему-поросю казалось, что пьется он как-то слишком медленно. Убедившись, что все взоры обращены на молодую женщину, ветеринар схватился за бутылку. Торопливо наполнил бокал, опустошил его и снова наполнил…

– Опля! – воскликнул Долль, который вроде бы сидел отвернувшись – но тем не менее все видел. – Ну-ка, не так быстро! Раз уж я угощаю, то я и темп задаю!

И он отобрал у Вильгельма бутылку – впрочем, вполне вежливо.

Разумеется, остальные мужчины тут же обрушились на старого халявщика и выпивоху с насмешками. Они сыпали колкостями, припоминали всякие позорные истории с его участием, бросали ему в лицо обвинения во всевозможных низостях. Но его все это мало трогало: стыда он не ведал.

Он привык платить за дармовую выпивку унижениями. И платил так давно и так часто, что от его чувства собственного достоинства уже ничего не осталось. Конечно, он всех их презирал, и умри они все в эту минуту у него на глазах – он бы и бровью не повел: его волновал только алкоголь. Пусть насмехаются и издеваются сколько хотят – он их даже не слушал. Его толстая рука в старческих родимых пятнах обнимала ножку бокала, и он думал: я выпил на два бокала больше, чем вы! А если снова подвернется возможность, я постараюсь урвать еще!

Долго дожидаться возможности ему не пришлось. За столом сидела молодая, красивая, цветущая женщина, и мужчины флиртовали напропалую: Виллема-порося они видели каждый день, а такая бабенка когда еще подвернется. На ветеринара никто не обращал внимания. Долль всем корпусом повернулся к собеседнице. Ветеринар уже три раза тянулся к бутылке, но отдергивал руку. На четвертый он все-таки цапнул ее и плеснул вина себе в бокал…

И тут же Долль бросил через плечо, уже без тени любезности:

– Если скорость, с которой пьют за этим столом, вас не устраивает, может, пересядете? Свободных столов предостаточно.

Ветеринар уставился на него с сомнением, с недоумением, почти с мольбой – и Долль повысил голос:

– Вы меня не поняли? Покиньте наш стол! Я сыт по горло

вашими выходками!!!

Старик медленно поднялся. И медленно побрел в противоположный конец зала. (Время было позднее, полицейский час давно миновал, и других посетителей не осталось.) Помешкав, он все же прихватил бокал, из-за которого столько потерял, и осторожно, как святыню, понес перед собой. Ведь больше ему, по-видимому, не на что было рассчитывать в этот злополучный вечер, который так замечательно начинался. За его спиной недавние собутыльники изгалялись в насмешках – как они еще не лопнули от злорадства, эти жирные, окосевшие филистеры! Только Долль молчал: он не собирался добивать побежденного, может быть, даже сожалел о словах, вырвавшихся в гневе, – в конце концов, пожилой человек, можно было и помягче… Но стоило ему раскаяться, как угрызениям совести положила конец молодая женщина:

– Вот и правильно, герр Долль, он такой противный, этот старый подлипала!

Застолье продолжилось, снова полилась оживленная беседа – даром что все участники пьянели на ходу. Про старого ветеринара тут же забыли. А он все сидел один за столиком, стискивая ножку бокала, который давно уже опустошил. Сидел, и смотрел, и слушал, и считал. Он считал бутылки, которые приносили шумной компании, считал бокалы, которые выпивал каждый из присутствующих, и о каждом выпитом бокале думал: и мне бы хоть глоточек!

Доктор Вильгельм дождался, пока они накуролесятся и соберутся платить. Тогда он потихоньку покинул зал и притаился во тьме перед гостиницей.

Ждал он долго, но наконец на улицу вышла парочка – каждый вел за руль свой велосипед. Платье женщины ярко белело в темноте, она вела велосипед прямо, а вот мужчину заносило, он часто останавливался. Потом снова разгонялся, но, врезавшись в велосипед своей спутницы, ронял свой. Тогда он разражался пьяным хохотом и, чтобы сохранить равновесие, цеплялся за женщину. Доктор Вильгельм установил, что на углу, где эти двое должны были разойтись, они и не подумали расстаться. Долль взялся провожать молодую женщину до дома – спотыкаясь, падая, ругаясь, смеясь. Кивая головой и кривя свою кожистую физиономию, словно желчи наелся, ветеринар пошагал домой, медленно и величественно, широко расставляя ноги.

На следующее утро слухи об «оргии», устроенной в лучшем отеле города, полетели по улицам и переулкам и вслед за молочным фургоном перекочевали в деревню. Доллю в отчаянии позвонила молодая женщина: оказывается, жена хозяина гостиницы, та еще ханжа, заявила, что «ввиду ее безнравственного поведения» больше никогда не пустит ее в ресторан. Молодая женщина была расстроена и возмущена до крайности: впервые в жизни она столкнулась со скорым на расправу провинциальным судом, который выносит приговоры, даже не заслушав обвиняемого, – и потом их ни обжа-

луешь, ни отменишь.

– И ведь нам не в чем себя упрекнуть! Ничего не было – мы даже не целовались! А эта свинья, этот ветеринар рассказывает, что якобы я весь вечер сидела у вас на коленях и позвала вас к себе ночевать! И ведь в гостинице все знают, что ночевали вы там!

Это была чистая правда: когда стало ясно, что Долль не в состоянии ни идти пешком, ни ехать на велосипеде, она отвела его обратно в гостиницу, где он и снял номер.

– Послушайте, герр Долль, вы просто обязаны поговорить с хозяином! Пусть отменят этот безобразный запрет и прекратят распространять эти отвратительные слухи! Помогите мне, Долль, я так несчастна! Как все это подло! Местные готовы возненавидеть женщину только за то, что она красива и любит посмеяться. Будь моя воля, я бы продала этот дом, и ноги бы моей здесь больше не было!

В глазах молодой женщины стояли слезы, и Долль пообещал сделать все, о чем она просила. Да и не в слезах дело – его самого переполняли ярость и ненависть. Но он очень быстро понял, что подобные слухи легче распустить, чем пресечь. Живущий под каблуком у лицемерки жены отельер крутился как уж на сковородке; наконец, когда спор пошел на повышенных тонах, он под шумок слинял – и никто его в этот день больше не видел. В качестве свидетеля защиты привлекли судью, но тот, по-видимому, завидовал Доллю как более молодому и удачливому сопернику, а потому дал

весьма расплывчатые показания: в ресторане, дескать, ничего предосудительного не происходило. А уж что там было ночью на улице – кто его знает. Он свечку не держал!..

Долль возмущенно воскликнул:

– А что, по-вашему, мы могли делать на улице? Все знают, что ночевал я в гостинице.

Потупившись, хозяйка гостиницы мягко напомнила: между их уходом и возвращением герра Долля прошло больше часа!

– Ну это уже перебор! – заорал Долль. – Минут пятнадцать, от силы – полчаса!

Хозяйка гостиницы и судья заулыбались, и престарелая святоша заявила, что полчаса – это тоже долго, за полчаса многое может произойти.

Тут судья тоже предпочел убраться, и гневный вопль Долля – как им не стыдно безо всякого основания обвинять двух ничем не запятнавших себя людей в том, что за полчаса, проведенных наедине, они наверняка сотворили что-нибудь непристойное? – услышал уже из коридора. Но задерживаться не стал: дело могло кончиться судебным разбирательством, а выступать на таком разбирательстве свидетелем он не желал.

Поначалу Долль был настроен воинственно, но его пыл быстро истощился в споре с лицемерной бабой, которая на все его возражения и требования лишь слегка улыбалась и отвечала двусмысленно и уклончиво. Даже на прямой во-

прос, действительно ли она намерена не пускать молодую женщину в ресторан, она не сказала ни да ни нет.

В конце концов Долль расхохотался – и ушел. С чем он, собственно, боролся?.. Да у Дон Кихота было больше шансов победить ветряные мельницы, чем у него – переубедить эту женщину, которая наверняка всегда голосует за своего обожаемого фюрера. Нет, если что-то тут и можно сделать, то начинать следовало с человека, который распустил все эти слухи, – с ветеринара, любителя сплетен и дармовой выпивки. Долль ему отплатит сполна! Захлестнутый новой волной гнева, он отправился на поиски доктора Вильгельма. Но только зря потратил время: ветеринара не обнаружилось ни дома, ни в городе, ни в пивной. Долль заподозрил, что старик, испугавшись, залег на дно – и, вероятно, так оно и было!

Поэтому Доллю ничего не оставалось, кроме как пойти к адвокату: пусть напишет ветеринару и хозяевам гостиницы. От адвоката Долль узнал, что в военное время иски о защите чести и достоинства от частных лиц не принимаются. Впрочем, остальные этого, скорее всего, не знали, поэтому они с адвокатом все-таки разослали письма, в которых угрожали именно таким иском. Но адресаты, возможно, тоже посоветовались с юристами или просто что-то откуда-то знали – так или иначе, ответа не последовало. Слухи между тем расползались все шире и шире.

Он очень переживал из-за всей этой вакханалии, а особенно – из-за отъезда молодой женщины: она буквально сбе-

жала из городка, спасаясь от пересудов. Ему казалось, будто он ломится в стену из перьев и ваты: как ни бейся, стене ничего не делается. Письма адвоката казались ему слишком мягкими и дипломатичными; он сам сел за стол и написал доктору Вильгельму письмо, уведомив своего обидчика, что при первой же встрече намерен дать ему пощечину как клеветнику.

Отослав письмо, он пожалел о своей горячности. Это было ниже его достоинства – вместо того чтобы молча презирать своих противников, он вставал с ними на одну доску. Но пришла минута, когда он пожалел об этом письме еще сильнее! Утром Долль зашел в вокзальный буфет – и увидел на диване Виллема-порося, а перед ним – бутылку вина!

Будь его воля, Долль бы тут же развернулся и ушел – и, наверное, именно так ему и следовало поступить, если он хотел сохранить душевный покой. Но в зале ожидания, кроме множества незнакомых людей, были и местные жители, которые с любопытством переводили взгляд с него на ветеринара. Долль понимал, что Вильгельм, как старая кляузница, наверняка показал письмо собутыльникам и вообще половине города, и все в курсе, что обиженный доктор Долль грозил надавать ветеринару пощечин. Если Долль сейчас отступит, то ветеринар выйдет из этой истории победителем и поднимется новая волна кривотолков.

Поэтому Долль вошел и сел напротив своего обидчика. Буфетчик, обычно весьма словоохотливый, молча принес

ему заказанную бутылку. Местные ждали, когда чужаки покинут зал ожидания – поезд отправлялся через четверть часа. Тем временем Долль, сжимая ножку бокала, спорил сам с собой. Ветеринар этого не стоит, говорил ему внутренний голос. Он всего-навсего старый сплетник. При чем тут твоя честь?! Но он поглядывал на остальных, которые так же, как и он, молча сидели с бокалами в руках: ведь они все сочтут меня трусом, все, и этот мерзавец в первую очередь, если я не сдержу слово. Я должен показать этим бюргерам, что не позволю безнаказанно марать мое имя! Нет, отступать нельзя!

Чужаки покинули зал, осталось человек пять-шесть местных. В помещении воцарилась тишина. Тогда буфетчик Курц, натиравший бокалы за стойкой и пристально следивший за происходящим, во весь голос завел беспредметный разговор с маляром.

– Им там в Берлине ни дня покою не дают, – услышал Долль: над городком как раз прогудели вражеские эскадрильи…

Тут он поднялся и встал перед своим «врагом». Обеими руками опершись на столешницу и приблизив свое лицо к ненавистному, желтому, желчному лицу ветеринара, он шепотом осведомился:

– Не хотите ли сию секунду, на этом самом месте публично опровергнуть вашу клевету?

Буфетчик сказал просительно и в то же время сердито:

– Бросьте вы это, доктор Долль! Еще мне тут драк не хватало! Выйдите за дверь, раз уж…

Не обращая на него внимания, Долль тихо продолжал: – Или вы предпочитаете, чтобы я у всех на глазах ударил вас по лицу? Наказал вас, как малолетнего врунишку?

Грузный старик сидел на диване не шелохнувшись. Желтизна его физиономии под грозным взглядом Долля постепенно превращалась в бледную серость, но рыбьи глаза смотрели не мигая, без определенного выражения. Когда Долль замолк, показалось, что ветеринар вот-вот что-то скажет: губы шевельнулись, высунулся кончик языка, словно он хотел облизнуться, – но ни звука не слетело с его уст.

– Идите, идите, доктор Долль! – с нажимом произнес буфетчик. – Вы же видите, господин доктор Вильгельм очень сожалеет…

Тут вдруг ветеринар из какого-то непостижимого упрямства затряс головой, подобно китайскому болванчику.

– Тссс! Тссс! – зашикал хозяин, словно кур унимал. – Не надо, Виллем!

Долль постоял секунду, глядя, как этот карикатурный болванчик качает головой, потом поднял руку и влепил клеветнику оплеуху.

Среди зрителей прокатилось грудное «Ах!».

– Да что ж вы тут!.. – гаркнул хозяин, впрочем, не без облегчения: он явно был рад, что удар не сильный и сдачи ветеринар давать не собирается.

Мгновение Долль смотрел обидчику в лицо с угрозой и в то же время с облегчением. Чувства, раздиравшие и щемившие его грудь, улеглись, он враз избавился от ненависти и гнева. Но тут произошло нечто ужасное и совершенно непредвиденное: на ничего не выражавших глазах старика выступили две больших прозрачных слезы. Секунду они дрожали на краю век, а потом медленно покатились по щекам. А в глазах снова копились слезы, и вот они уже ручьями лились по кожистому лицу престарелого Щелкунчика, блестевшему от влаги. Кадык у него заходил ходуном:

– Ох!.. Ох!.. Ох!.. – всхлипывал ветеринар. – Боже мой, он меня ударил! Ударил по лицу! Что мне теперь делать? Ох!.. Ох!.. Ох!.. Как теперь смотреть людям в лицо? Мне придется умереть! Ох!.. Ох!.. Ох!..

Когда Долль нанес удар, симпатии публики, без сомнения, были на его стороне, что и подтвердило дружное «Ах!», вырвавшееся у зрителей. Но слезы старого врача враз все переменили. Долль не сомневался, что это крокодиловы слезы, с помощью которых хитрый старик рассчитывает отвлечь всех от собственного позора и перетянуть общественность на свою сторону.

– Ох!.. Ох!.. Ох!.. – плакал доктор Вильгельм. – Он меня ударил – а ведь у меня сегодня день рождения, мне исполняется шестьдесят три, да-да! Я же ничего ему не сделал. Я всегда заступался за него, когда люди говорили о нем дурно. А сколько раз он угощал меня вином – я был ему так благо-

дарен!..

На последней фразе гнев и ненависть вновь захлестнули Долля. Перед его глазами живо встала сцена в ресторане, когда он изгнал ветеринара из-за стола за его бесцеремонное самоуправство с бутылкой. Что-то никакая «благодарность» не помешала старому лицемеру оклеветать Долля, стоило хоть раз отказать ему в угощении.

– Хватит! – рявкнул Долль. – Вы старый сплетник и трепло – за это я вас и ударил. И если вы будете дальше лгать, я ударю вас еще раз, несмотря на ваши притворные слезы! – и он угрожающе занес руку.

Однако Долль не учел, что зрители настроены против него. За много лет они хорошо изучили своего Виллема-порося, знали его как облупленного и считали ничтожеством. Но эти слезы и стенания отбили у них способность здраво мыслить и оценивать происходящее. Плачущий старик – зрелище душераздирающее, и они, с буфетчиком во главе, напустились на Долля:

– Вот уж действительно, хватит! Вы не посмеете снова ударить пожилого человека! Уходите подобру-поздорову, и бутылку свою заберите!

В одно мгновение Долля оттеснили от его врага, кто-то сунул ему в руки шляпу, буфетчик запихнул в его портфель наспех закупоренную бутылку вина – и Долль вмиг очутился на привокзальной площади. Буфетчик печально посмотрел на него глазами, которые испещряли красные прожилки, и

сказал:

– Не следовало вам это делать, доктор Долль, весь город теперь ополчится против вас! Воспитанные люди так не поступают – кулаками размахивать, еще чего! Ну, авось еще все наладится…

Но, увы, ничего не наладилось. Буфетчик был прав: Долль растерял остатки симпатии, которую к нему еще испытывали местные жители, и навсегда сделался изгоем.

А доктор Вильгельм действовал с дьявольской хитростью, следуя подсказкам своего желчного умишка. После ухода Долля он продолжал плакать и, всхлипывая, уверял, что не переживет такого позора. Он покончит с собой, сегодня же, в день своего рождения…

Ему налили вина, чтобы он успокоился, – много вина, – а потом проводили до дома. Однако весть о нанесенном ему оскорблении молниеносно разнеслась по городу и пробудила сочувствие к ветеринару даже в тех сердцах, где его сроду не водилось. Не зря старый проныра все время поминал свой день рождения: еще не один день после происшествия он получал подарки – продукты, вино, шнапс – от людей, которые, если бы не сцена на вокзале, никогда бы и не вспомнили про день рождения какого-то пьянчужки.

А война продолжалась – год, другой. У людей появились более насущные заботы, чем Долль и его порочный образ жизни.

Доллю тоже было не до того: распался его брак. Он с го-

ловой погрузился в свои проблемы, и тем обиднее ему было, что при встрече с ветеринаром ненависть, которую, как ему казалось, он уже изжил, вспыхивала с прежней силой, ничуть не притупленная временем, – все тот же застарелый стыд…

Потом, после долгого отсутствия, вновь появилась в городе та самая молодая женщина. Теперь она носила черное. Долль узнал, что какое-то время назад она овдовела. Но когда при этом известии люди с любопытством вглядывались в его лицо, они читали на нем лишь безразличие. И Доллю правда было все равно. Если два года назад он и испытывал к этой женщине иные, более пылкие чувства, то сейчас все было давно и прочно забыто…

Но жизнь в маленьком городке течет по своим собственным законам. В большом городе люди пересекаются только раз, чтобы больше никогда не встретиться. А здесь был изгой Долль, человек, который хоть и имел деньги, но своей высокомерной манерой держаться возбуждал лишь неприязнь. И была молодая женщина, вдова, от роду лет двадцати трех, не больше, хотя уже имела пятилетнего ребенка, – и она, несмотря на траур, ходила с накрашенными ногтями и бордовой помадой на губах. Жители городка имели твердое суждение на ее счет, равно как и на счет его (Долля)!

Они оказались вдвоем против всех, выброшенные на обочину жизни: оболганные, оклеветанные, подозреваемые во всех смертных грехах. Неудивительно, что в конце концов судьба свела их вместе.

– Добрый день! – помявшись, поздоровался Долль. – Сколько лет, сколько зим…

– Да уж, – отозвалась она. – Сколько всего изменилось с тех пор!

– И не говорите! – Он вспомнил о ее вдовстве и оглядел молодую женщину. В траурной одежде она показалась ему еще красивее. – Вы потеряли мужа…

– Да, – подтвердила она. – Мне пришлось нелегко. Муж болел больше года, и я ухаживала за ним совершенно одна. Во время воздушных тревог приходилось спускать больного в подвал, квартира наполовину выгорела…

– Ох и намучились вы! – посочувствовал он и сердито засмеялся: с таким жгучим любопытством зыркнула на них проходившая мимо «капитан-лейтенантша». – А в нашем болоте ничего не изменилось: нынче вечером только и разговоров будет, что о нас с вами.

– Не сомневаюсь! – воскликнула она. – Проводите меня немножко? Раз уж они все равно судачат, пусть хоть судачат по делу! Хотите сегодня у меня пообедать? Мне из деревни как раз прислали курицу, – она улыбнулась, – не по талонам…

– Хорошо! – согласился он. – С радостью. Отчитываться мне больше не перед кем…

– Я знаю, – обронила она.

Так все началось – и так дальше и пошло. Их свело упрямство, чувство протеста, одиночество, в конце концов. Хоть

один человек, с которым можно поговорить по душам, который не предаст. Позже пришли и другие чувства: искренняя симпатия, даже любовь. Весь городишко самозабвенно перемывал им кости, но они не обращали на это внимания. Они стали жить вместе в доме молодой женщины – ух, как возмущались местные жители таким бесстыдством! И пусть ветеринар всюду твердил: вот видите, каждое мое слово тогда, пару лет назад, *было чистейшей правдой*. Доллю было совершенно все равно, что его враг торжествовал.

Но когда они поженились, и не в этом тухлом болоте, а в большом городе, в Берлине, когда они сидели рядышком на кухне почти полностью выгоревшей квартиры и писали на конвертах адреса, чтобы разослать извещения о браке, – тут она снова подняла голову, эта застарелая ненависть; они не забыли своих врагов. Каждый получил извещение, и в первую очередь – Виллем-порось и лицемерные хозяева гостиницы! Какого эффекта новоиспеченные супруги ожидали от этих извещений, они и сами себе как следует объяснить не могли. Они чувствовали себя победителями: поженившись всем сплетникам назло, они нанесли сокрушительный удар по ханжеству!

В городке они теперь бывали лишь наездами. И подолгу не вспоминали об этом провинциальном болоте в хаосе большого города, в котором сгущался мрак, рассеиваемый лишь зловеще трепещущим пламенем пожаров, выжигавших целые улицы. Прячась от бомб в затхлых подвалах, они слу-

шали приближающийся рев самолетов и взрывы, от которых вздрагивало все внутри… Вот и в очередной раз они сидели обнявшись, и молодая женщина уже сказала успокаивающе: «Слава богу, улетели!» И вдруг – оглушительный треск и грохот, свет желто вспыхнул и потух… На языке – привкус известки, словно они отведали собственной смерти.

А когда они выбрались из Берлина по руинам вокзалов и ошметкам рельсов, когда поезд увез их глубоко в леса, где не было ни следа разрушений, когда они вечером, перед последним отрезком пути, зашли в вокзальный буфет пропустить по стаканчику, – там все оказалось по-прежнему. Разве что буфетчик стал еще прижимистее, а его обхождение с посетителями – еще наглее; но на диване, на своем привычном месте, все так же сидел кожистый ветеринар.

Едва Долль увидел этого человека, старая ненависть вспыхнула с новой силой. Она захлестнула его, как стихия, и лишь вдогонку всплыли воспоминания о том, какое зло причинил им этот человек – впрочем, в запоздалых обоснованиях не было никакой нужды. Долль сам не понимал этой ненависти: сколько тягот им пришлось вынести в последнее время, а после той роковой бомбежки он и вовсе чувствовал себя так, будто заново родился. Он не понимал этой низменной ненависти, и все же с ней приходилось считаться. Он сам пустил ее в свою душу, сам дал ей там угнездиться – теперь придется ее терпеть, быть может, до конца жизни.

Да, до конца жизни – но не своей, а своего недруга! Пото-

му что теперь, когда Долль с молодой женой шагал на работу мимо запертого, угрюмого дома старого ветеринара, когда вечером, в одиночестве возвращаясь домой, проходил под выцветшей табличкой, испещренной вмятинами и изъеденной зелеными пятнами, – он избегал смотреть на дом вовсе не потому, что продолжал ненавидеть покойного. Нет, с его уходом ушла и ненависть, а на ее месте осталась будто бы какая-то пустота, смутное воспоминание о чувстве, которого надлежало стыдиться. В это время великого перелома чувства вообще не жили долго: ненависть прошла, остались пустота, тоска, безразличие, все люди вокруг казались чужими. Никто никогда раньше не ведал такого одиночества. Ни один человек. Лишь молодая женщина была рядом. Но и ей он дал понять:

– Ну ладно, ладно. Давай о нем больше не будем. Он ушел навсегда.

Нет, когда Долль отводил взгляд от этого мертвого дома, на то была другая причина. Он снова и снова думал об одном и том же: я же видел, как он сидел в вокзальном буфете, слезы ручьями лились по щекам, и он выл, что ему придется наложить на себя руки, чтобы смыть позор. Но никаких рук он никуда не наложил – да и чего ждать от тряпки! – а позор без зазрения совести обернул к собственной выгоде! Всегда, всю свою жизнь, этот доктор Вильгельм был трусом: он боялся, что его ударит копытом конь, или проденет рогами корова, или укусит собака, он только и мог, что прививать

мирных хрюшек, старых и малых, – Виллем-порось! Он по праву носил это язвительное прозвище и не возражал, если те, кто угощал его вином, так к нему и обращались, – он никогда не обладал ни достоинством, ни мужеством…

И тем не менее, размышлял Долль, у этого самого доктора Вильгельма все же хватило мужества сделать то, на что у меня мужества не хватает – хотя от моего достоинства, самоуважения, стыда, веры и надежды скоро не останется камня на камне. Я не могу решиться на последний шаг, хотя всегда считал себя смелым человеком. А вот он, трус, смог. У него, у труса, которому я дал по морде, мужества хватило, – а у меня нет.

Вот с какими мыслями проходил Долль мимо этого дома, вечно терзаемый тягостной рефлексией, которой любой ценой хотел избежать – и избежать не мог, как бы ни отводил глаза. Он пытался представить себе комнату, в которой ветеринар провел последний час жизни, в которой сделал «это». Долль знал, что под конец у старого пьяницы только и осталось, что кровать, стол да стул – все прочее он пропил. Пытался представить себе, как старик сидит на этом единственном стуле, пистолет лежит перед ним на столе – может, и в эту минуту бежали по его лицу слезы, может, он опять стенал: «Ох!.. Ох!.. Ох!..»

Долль встряхивал головой, пытаясь отогнать непрошеное видение, которое причиняло ему такие страдания.

Ясно было одно: старик с кожистым лицом ушел, а Долль

остался – опустошенный, погрязший в сомнениях и самобичевании. В эти дни поколебалось многое, что прежде казалось незыблемым – вот и Долля покинула застарелая ненависть к ветеринару, а заодно и вера в то, что *он сам* – человек смелый. Может, он просто ничтожество, дырка от бублика; раньше он питался иллюзиями, а теперь иллюзии рассеялись! И ничего от Долля не осталось.

Будь его воля, он бы вообще мимо этого запертого дома не ходил. Но город, расположенный на полуострове, был построен так, что обходного пути не было. А значит, не было и спасения от мучительных мыслей. Дом словно вымогал у него признание, что он пустое место, и всегда пустым местом был, и в будущем, сколько ему еще этого будущего отпущено, так и останется – полным ничтожеством! Всю оставшуюся жизнь – ничтожеством!

Поэтому он почитал за лучшее сказать жене:

– Да ладно, не тревожь покойника. Пора о нем забыть. Не будем о нем больше!

Все это была ложь. И ладно не выходило, и забыть не удавалось. Ну и пусть ложь – какое это сейчас имеет значение?! Пускай жена думает, что он по-прежнему ненавидит старика. Ненавидеть он уже никого не мог, а вот лгать пока получалось. Слабые люди лгут хорошо.

Глава 4
Господа нацисты

Коров Долль пас недолго: цепь случайностей привела к тому, что русский комендант назначил его бургомистром, дав ему власть не только над самим городом, но и над прилегающими деревнями. Вот как изменились времена: человеку, которого в городе больше всех ненавидели, пришлось опекать своих сограждан.

А началась цепь случайностей с того, что однажды ночью через забор доллевского участка перебросили рюкзак. Рюкзак был армейский, и внутри лежала форма высокого эсэсовского чина. Дорогие соседушки, которые подбросили это кукушкино яичко в доллевское гнездо, побоялись держать форму дома ввиду постоянных обысков, которые к тому же проводились все тщательнее. Почему они не напихали в рюкзак камней и не утопили в озере, до которого было рукой подать, – вопрос особый: этот поступок красноречиво говорил и о порядочности соседей, и об их любви к Доллю.

Тот, естественно, не подозревал, какой сюрприз его ждет. Он долго не ложился спать, но потом все-таки забылся уже привычной тревожной дремой. От этой дремы его ни свет ни заря пробудил русский патруль, настроенный весьма враждебно. Поначалу он даже не понял, чего от него хотят, и лишь через пятнадцать муторных минут до него дошло, чем для

него чреваты этот рюкзак и эсэсовская форма: Доллей заподозрили в том, что они укрывают офицера СС! Весь дом, пол, сарай перевернули вверх дном, и, хотя не нашли ни следа беглеца (которого никогда и не было), Долля посадили на пароконную коляску и под конвоем двух солдат с автоматами повезли в город, в комендатуру! Эту картину наблюдали местные жители – и наверняка не испытывали ни тени сочувствия: во-первых, у самих забот по горло, а во-вторых, доктор Долль – он и есть доктор Долль. Уж скорее желали ему всех мыслимых и немыслимых неприятностей!

Но в комендатуре обошлось без неприятностей: допрос вел офицер, которому переводчик в гражданском переводил показания Долля. Раз уж ему подло подбросили этот рюкзак, Долль не постеснялся обратить внимание русских на один из соседских домов, где жила жена эсэсовского командира. Поступила эта особа, конечно, не только гнусно, но и глупо – ведь догадаться, откуда взялась форма, было, прямо скажем, нетрудно.

Через четверть часа Долля отпустили домой, где его с трепетом поджидала вся семья.

Следующий день был «День Победы», а значит, выходной. Местному населению велено было собраться на площади перед комендатурой – слушать торжественную речь русского коменданта. Там Долль с женой повстречали того самого офицера, который допрашивал его накануне, с тем же самым переводчиком. Долль вежливо поздоровался, те по-

смотрели озабоченно, но на приветствие ответили, – и тут же зашептались между собой. Затем жестом подозвали Долля, и переводчик от имени офицера спросил, сможет ли он выступить и рассказать согражданам о значении этого Дня Победы.

Долль ответил, что прежде ему не доводилось произносить публичных речей, но он уверен, что справится не хуже любого другого. Тогда его повели в комендатуру – жена осталась на площади – и усадили в одной из комнат верхнего этажа. Сквозь стеклянную дверь он видел, как комендант вещает с балкона; переводчик тем временем шептал Доллю на ухо, какие ключевые моменты нужно затронуть. После краткого инструктажа в комнате повисла тишина – лишь снаружи все еще говорил комендант. Это был маленький человек с бледным, смуглым, красивым лицом – настоящая статуэтка. Сняв белые перчатки, которые обычно носил, он время от времени взмахивал ими, подчеркивая важные фразы. Комендант ораторствовал минуты две-три, а потом делал паузу, чтобы переводчик воспроизвел его слова на немецком. Но тот говорил от силы минуту – признак никуда не годного перевода. Иногда из невидимой глуби доносились крики «браво».

Ну погодите! – сердито думал Долль. И трех недель не прошло, как вы кричали «Хайль Гитлер!», лебезили перед СС и выбивали себе местечко потеплее в фольксштурме, – уж я выскажу все, что думаю о вашем теперешнем «браво»!

Ему сделалось жарко. Конечно, на дворе прекрасное майское утро, но времени всего десять часов – а у него весь лоб в испарине. Наклонившись к нему, переводчик спросил: герр Долль волнуется? Может, воды?..

Тот с улыбкой ответил, что предпочел бы шнапс. Его тут же отвели в офицерскую столовую и налили целый стакан очень крепкой водки.

Пять минут спустя он стоял у балконного парапета, а за его спиной – комендант и переводчик, который теперь переводил доллевскую речь. Кроме того, на балконе толпилось множество офицеров – офицеров, которых Доллю в ближайшие недели предстояло узнать гораздо ближе. Но в эту минуту он их не видел – он видел только людей внизу, толпу своих сограждан, которые, подняв головы, выжидающе смотрели на него.

Сперва их лица расплылись в один сплошной серовато-белый мазок над широкой темной лентой одежды. Затем, уже произнося первые фразы, Долль стал различать отдельных людей. С некоторой тревогой прислушиваясь к собственному голосу, который никогда не отличался силой, но, похоже, все-таки разносился над площадью достаточно звучно, он внезапно обнаружил почти у себя под ногами собственную жену. Она стояла, со свойственной ей беззаботностью дымя сигареткой, и вокруг нее зияла пустота, хотя площадь была забита до отказа. Сознательно или невольно, окружающие расступились, и это еще раз доказывало: Доллей здесь

никогда не жаловали, а уж тем более теперь, когда он распинался с балкона комендатуры.

Не прерывая речи, он кивнул так, чтобы заметила только она, – она в ответ улыбнулась и подняла руку с сигаретой, приветствуя его. Его взгляд скользнул дальше и задержался на седой бороде одного из национал-социалистических отцов города, архитектора, человека в общем мирного, но ловко использовавшего свое положение в партии для того, чтобы уничтожать конкурентов. Неподалеку от него топтался другой тип, маленького роста, с продувной и жестокой рожей: он собирал партийные взносы и доносил на всех подряд местным бонзам – тем самым бонзам, которые теперь дружно бежали в западную зону…

Но сошек помельче осталось предостаточно: вон стоит секретарь почтового отделения, разыгрывавший из себя вояку в фольксштурме, вон учитель – доносчик, которого все боялись, вон вокзальный буфетчик Курц, самодур и, как недавно выяснилось, тоже стукач, а вон – глаза Долля вспыхнули – стоят рядышком, делано усмехаясь, как бездарные комедиантки, две женщины – жена и дочь того самого эсэсовского чина, чья форма вчера утром чуть его не погубила.

Долль подался вперед, он говорил все быстрее, громче: о том, какое сложное нынче время, о прямых виновниках, о попутчиках, о пройдохах, которые норовят половить рыбку в мутной воде. И пока он говорил, пока они упорно, словно к ним его слова не относились, выкрикивали то «Браво!», то

«Верно!», он подумал, что все-таки выглядеть его сограждане стали иначе. И дело было не только в бледных лицах, на которых оставили печать страхи, заботы, тревоги и ночные бдения, не только в вылинявшей, истрепанной одежде тех, кто, не желая сталкиваться с первой волной советских войск, схоронились в лесу. У всех в наружности появилось что-то от нищих оборванцев, словно они враз скатились на много ступенек вниз по социальной лестнице, по каким-то причинам отказались от положения, на которое всю жизнь претендовали, и без стыда встали в один ряд с другими бесстыжими – вот так они выглядели; так они выглядели и раньше, но только наедине с самими собой, а теперь это было видно каждому. Им уже нечего было стесняться – этому народу, который нес бремя поражения без какого бы то ни было достоинства, без тени величия.

Маячил в толпе и хозяин отеля – лицо у него обычно было красное от вина, лоснящееся, с неизменной улыбкой, а теперь поблекло, потемнело из-за многодневной щетины. А рядом – его ханжа жена, бережливая хозяйка, которая готова была слупить с бедняка последний пфенниг и охотно бы перевзвешивала каждый кулек съестного; она всегда ходила в мешковатых черных или серых платьях, а теперь еще и обвязала голову некогда белым платком на манер персонажей Вильгельма Буша,[1] у которых болели зубы. На ее тощем те-

[1] Вильгельм Буш (1832–1908) – немецкий поэт-юморист и карикатурист. На его рисунках к стихотворению «Дырка в зубе» платок на голове у персонажа повязан

ле красовался теперь синий фартук, какой носили прачки, а руки были обернуты грязной марлей.

Сам себя сдал – и пропал этот народ, подумал Долль. В пылу речи у него не было времени подумать о себе самом – а ведь он находился в точно таком же положении. Он славил 7 мая, Красную армию и генералиссимуса Сталина, он видел, как они кричат и ликуют (ведь наряду со справедливостью и свободой им были обещаны хлеб и мясо) и выбрасывают вверх правые руки – отработанным за много лет движением.

Коменданту и его офицерам, похоже, речь тоже пришлась по душе. Долля с женой пригласили в офицерскую столовую – выпить по стаканчику. Стаканчики, казалось, стали еще больше, водка еще ядреней – и одним стаканчиком дело не ограничилось. Когда Долль с женой брели домой по залитым солнцем улицам, обоих пошатывало – его сильнее. Слава богу, местные жители как раз обедали: сидя за столом, они клеймили проходящего под их окнами Долля за сегодняшнюю речь перебежчиком и предателем и мечтали оказаться на его месте!

Уже на изрядном удалении от города, где и домов-то почти не было, на дороге, бежавшей через тощую рощицу и носившей название «Коровский проспект», Долль споткнулся. Водка сделала свое дело: он не удержал равновесие, рухнул наземь и остался лежать. Попросту заснул. Фрау Долль уговаривала его встать, но он беспробудно дрых, а наклониться

таким образом, что на макушке торчит бантик, напоминающий заячьи уши.

и поднять его самостоятельно она не решалась. Ее ноги тоже едва держали. Она пнула его в бок, но в результате сама чуть не упала, а спящего так и не разбудила.

Положение было трудное. До дома шлепать еще добрых десять минут, и ей по силам было одолеть этот путь – но не могла же она оставить мужа валяться на дороге и дать местным жителям такой замечательный повод для новых кривотолков. К счастью для обоих Доллей, появились двое русских солдат. Фрау Альма подозвала их и с помощью красноречивой пантомимы объяснила, что произошло и что может произойти дальше. Поняли ее русские или нет, но перед ними спал пьяный человек – чего тут не понять? Они взвалили его на себя и потащили домой. И, смеясь, распрощались с молодой женщиной…

Но если она думала, что пересудов в этом провинциальном болоте удастся избежать, она глубоко ошибалась. В таком крошечном городишке у всего есть глаза, даже у «Коровского проспекта», где «и домов-то почти нет», а если кто-то чего-то недоглядел, то всегда можно домыслить. И вот от дома к дому полетела весть, которую пересказывали ехидно и торжествующе: «Этот Долль, ну, тот самый тип, который толкнул речь, чтобы подлизаться к русским, – ну и досталось ему на орехи! Вы уже слышали?.. Как, вы еще не слышали?! Ну так слушайте: его речь так не понравилась русским, что они его поколотили – мама не горюй! Так отделали, что он идти не мог: двое русских солдат доволокли до дома! Теперь,

поди, долго будет отлеживаться – и поделом!»

Этот рассказ передавался из уст в уста, и, как обычно бывает в маленьких городках, ему все верили – даже те, кто около полудня собственными глазами видел герра и фрау Долль, бредущих по улице. Местные обыватели торжествовали – и тем больнее оказался следующий удар: не прошло и недели, как русский комендант назначил этого самого поколоченного Долля бургомистром.

И местные тут же заговорили иначе: выяснилось, что все недруги Долля всегда были о нем высокого мнения и желали ему только добра. Повторив это с полдюжины раз, люди и сами начинали в это верить и назвали бы лгуном и клеветником всякого, кто напомнил бы им, как они еще недавно проходились на доллевский счет.

Сам Долль занял должность бургомистра без энтузиазма – но ничего не поделаешь, приказ есть приказ. Он никогда не тяготел к общественной жизни и чиновником всяко не был, и тот факт, что однажды, распаленный водкой, он произнес пламенную речь, вовсе не означал, что отныне он хочет заделаться оратором на постоянной основе. К тому же в ту пору он переживал, как уже было сказано, тяжелый внутренний кризис. Его мучили сомнения, неверие в себя и в окружающий мир; глубокое уныние подрывало его силы, а малодушная апатия подтачивала интерес к происходящему вокруг. Кроме того, внутреннее чутье подсказывало ему, что этот пост, который позволит ему распоряжаться счастьем

и несчастьем своих сограждан, ему самому принесет лишь множество хлопот, треволнений – и гору работы. Жена говорила ему: «Если ты станешь бургомистром, я утоплюсь в озере!» Но когда по приказу русских он бургомистром таки стал, она, конечно, не утопилась, а осталась с ним, жила лишь для него и старалась как могла скрасить те немногие часы, которые он проводил дома. Но их прежняя дружная жизнь осталась в прошлом.

Долль не ошибался, когда предполагал, что бургомистерский пост принесет ему мало радости, а куда больше – забот и неприятностей. На него обрушилась лавина работы, с которой он едва справлялся, и, хотя не так уж и велик был вверенный ему округ, состоявший из городка и примерно тридцати деревенских общин, трудился он с утра до поздней ночи – не меньше какого-нибудь столичного обер-бургомистра. Столько всего нужно было решить, уладить, построить и обустроить – а помощи ждать не приходилось: нацисты и СС разграбили и уничтожили абсолютно все, включая хоть какое-то желание сотрудничать со стороны населения. Люди были озлобленные, мелочные и пеклись только о своем «я»; приходилось приказывать, заставлять, а нередко и наказывать. За его спиной они изгалялись как могли, лишь бы навредить общему делу и извлечь выгоду для себя. А иногда пакостили просто по злобе, безо всяких корыстных целей.

Но все эти осложнения Долль предвидел, поэтому они не стали для него неожиданностью; и когда местные жители бе-

сились и упирались, это только подстегивало его, тем более что он всегда находил поддержку у офицеров Красной армии. Русские думали не только о сегодняшнем дне – они планировали и работали на далекую перспективу. Но вот чего Долль предвидеть не мог, так это очередного удара по самоощущению: деятельность на посту бургомистра тоже не дала ему внутренней опоры. Увы, приходилось это признать – и даже теперь, когда он с головой ушел в работу, чувство, словно Долля (и, наверное, еще многих немцев) лишили даже душевного суверенитета, усиливалось с каждым днем. Сирым и голым, им в удел оставалась лишь ложь, которую им всю жизнь вдалбливали как высочайшую правду и мудрость; они утратили права собственности на любовь и ненависть, на воспоминания, самоуважение и чувство собственного достоинства. В иные часы Долль сомневался, заполнится ли когда-нибудь пустота, разверзшаяся в его груди.

Двенадцать лет его преследовали и притесняли нацисты: таскали по допросам, сажали под арест, то запрещали, то разрешали его книги, шпионили за его семьей – одним словом, лишали всякой радости жизни. Но из этих мелких и крупных обид, из всех подлостей, мерзостей, гнусностей, которые он за двенадцать лет видел, слышал, читал между строк в хвастливых сводках и передовицах, – из всего этого выросло прочное чувство: бездонная ненависть к этим палачам немецкого народа, ненависть столь глубокая, что ему стал отвратителен не только коричневый цвет, а даже само

слово «коричневый». У себя дома он все коричневое замазывал и перекрашивал – это стало своего рода навязчивой идеей.

Как часто он говорил жене:

– Терпение! Будет и на нашей улице праздник! Но когда это произойдет, я ничего не забуду, никого не прощу, никакого великодушия они от меня не дождутся – о каком великодушии может идти речь, когда перед тобой ядовитая змея?!

И он живо воображал, как выселит из квартиры школьного учителя с его женушкой, как будет тягать их на допросы, всячески изводить и в конце концов накажет по заслугам – этих негодяев, которые без зазрения совести подбивали детей семи-восьми лет доносить на собственных родителей: «А где у твоего папы висит портрет фюрера? А что мама говорит папе, когда приходят собирать «зимнюю помощь»?[2] Как папа здоровается по утрам – «доброе утро» или «хайль Гитлер»? А по радио не говорят иногда на языке, которого ты не понимаешь?»

О да, ненависть к этому педагогу, который семилетним детям показывал фотографии изуродованных трупов – эта ненависть, казалось, надолго укоренилась в его душе.

А теперь все тот же самый Долль сделался бургомистром, и возмездие, о котором он так любил поговорить, которое в красках себе рисовал, подпитывая ненасытную ненависть,

---

[2] Сбор добровольно-принудительных пожертвований в пользу бедных.

стало в некотором роде его обязанностью. Он должен был в числе прочего разбираться, кто из нацистов – безвредные попутчики, а кто – деятельные преступники, выкуривать их из логовищ, куда они впопыхах позаползали, смещать их с влиятельных должностей, которых они добивались с прежней ловкостью и бесстыдством, отбирать у них все, что они неправедно наживали, крали, вымогали, конфисковывать продовольствие, которое они по-хомячьи тащили в свои норы, заселять в их просторные квартиры оставшихся без крова – все это теперь стало его долгом. Хотя настоящие «фюреры», главные виновники, давно удрали на запад, но и с мелкими сошками иметь дело – удовольствие ниже среднего. Они уверяли всех и каждого – с праведным негодованием, а то и со слезами на глазах, – что вступили в партию под давлением или из финансовых соображений. Все они готовы были подтвердить свои показания под присягой – дай им волю, они бы и на Библии поклялись. Среди двух-трех сотен местных национал-социалистов не нашлось ни одного, кто вступил бы в партию по «внутреннему убеждению».

– Строчите, строчите ваши отречения, – нетерпеливо говорил Долль. – Это ничего не изменит, но если вам так приятнее… Мы в этом кабинете давно уже поняли, что в мире было всего-навсего три национал-социалиста: Гитлер, Геринг и Геббельс! Подписали? Следующий!

Потом с парой полицейских (среди которых на начальных порах попадались весьма сомнительные личности) и прото-

колистом бургомистр Долль обходил дома и квартиры этих национал-социалистов. В шкафах у них обнаруживались горы белья – в том числе и почти нового, в то время как в мансарде эвакуированная из Берлина мать, у которой разбомбили дом, не знала, во что одеть детей. В сараях до потолка высились штабеля дров и угля, но на двери висел крепкий замок, чтобы ни щепочки не перепало тем, кому не на чем даже сварить суп. В погребах у этих коричневых скупердяев стояли мешки с зерном («Это для курочек!»), с ячменем («Выдали для поросенка, вот ордер!»), с мукой («Да это же не настоящая мука, это мы мельничную пыль смели!») В кладовках полки ломились от припасов, но на каждую банку у них была заготовлена ложь. Они тряслись за свою бесценную жизнь, но этот страх пересиливало желание защитить свои сокровища: все-де получено по закону! Они шли до самой машины, которая увозила их хомячьи богатства, и угрожать не смели, но на лицах было написано праведное возмущение творящимся беззаконием.

Во время подобных рейдов Долль всегда имел суровый, даже злой вид, но ощущал лишь отвращение и усталость. Он всегда был одиночкой, он даже в браке свято оберегал свое право на уединение – а теперь ему приходилось целые дни проводить среди людей, говорить с ними, принуждать их к чему-то, видеть слезы, слышать всхлипы, протесты, жалобы, просьбы… Под вечер голова превращалась в рокочущую бездну.

Иногда мелькала мысль: куда подевалась ненависть? Вот же они, те самые нацисты: это им я мечтал отомстить, это их злодеяния я клялся не забывать и не прощать. А я стою и не чувствую ничего, кроме омерзения, и больше всего мечтаю оказаться в кровати, и спать, спать, спать, забыться сном – и не возиться больше во всей этой грязи!

Но он был так перегружен работой, что времени на себя у него не оставалось. Ни одну мысль он не мог додумать до конца – голова постоянно была занята другим. Иногда у него возникало смутное чувство, что однажды он просто иссякнет и останется от него лишь полый скелет, обтянутый кожей. Но думать об этом у него тоже не хватало времени, и он не знал: то ли его ненависть к нацистам правда затухла, то ли он слишком устал, чтобы испытывать хоть какие-то живые чувства. Он больше не был человеком, только бургомистром – исправно работающей машиной.

Но однажды ненависть вновь взбурлила в душе Долля. С давних пор проживал в городке некто герр Цахес, а до него – его родители, дедушки и бабушки: словом, он был коренной житель даже по меркам местных аксакалов. До того как нацисты пришли к власти, этот самый Цахес владел маленькой, еле державшейся на плаву фирмочкой, которая занималась оптовой продажей пива; кроме того, Цахес делал из артезианской воды, углекислого газа и разноцветных добавок шипучие напитки, которые так любят дети, а еще занимался оптовыми поставками табака для гостиниц. Всего этого, од-

нако, не хватало, чтобы прокормить семью. Поэтому Цахесы заставляли двух лошаденок, которые обычно развозили пиво, выполнять еще множество различных тягловых работ: доставлять с вокзала чемоданы и ящики, возить из леса дрова, а в сезон вспахивать и возделывать угодья бедняков. При всем том они влачили самое жалкое существование: Цахес постоянно был на грани разорения, потеря любого клиента грозила крахом, и дни, когда на пивоварне выдавали зарплату, превращались в сущий кошмар для всех, кто так или иначе имел отношение к этому предприятию.

После того как к власти пришли нацисты, все в корне изменилось. Как и многие предприниматели, которые до 1933 года едва сводили концы с концами, Цахес вступил в партию в надежде освободиться от долгового рабства и в первых рядах пожать плоды всеобщего благоденствия, которое сулили новые правители. Разумеется, политика его ничуть не интересовала, он думал только о собственном процветании – и после 1933 года его дела действительно пошли в гору. На первых порах незаметно, а потом все наглее и наглее он перекрывал кислород конкурентам, у которых не хватило смекалки вовремя вступить в партию. Он принуждал хозяев гостиниц покупать товар только у него и платил услугами за услуги. Он улаживал мелкие политические осложнения, мог замолвить словечко перед бургомистром и вообще беззастенчиво использовал свое положение во всевозможных комитетах, правлениях и советах. Если кто-то вставал у него на пу-

ти, он тайком собирал на противника компромат, выведывал все о его словах и делах, а затем либо шантажировал, либо затягивал узел – смотря что представлялось ему более целесообразным.

Неудивительно, что его предприятие процветало. Кроме ломовых лошадей, он держал теперь особую упряжку, которая возила только ящики с бутылками и бочки. И всюду прислуживающий, перед всеми лебезящий голодранец Цахес сделался членом национал-социалистической партии герром Цахесом, заседающим там и тут, человеком, который мог позволить себе любую резкость, потому что знал, что за ним стоят большие деньги, а главное – партия, распоряжавшаяся счастьем и несчастьем, жизнью и смертью его сограждан. Ко всему прочему, Цахес отъелся, разжирел, и только бледный, нездоровый цвет лица и колючий взгляд его вечно бегающих темных глаз напоминали о былых голодных временах. Когда разразилась война, именно в его сфере все вздорожало и попропадало, но это не сказалось на его барышах: наоборот, на дефицитном плохом товаре он зарабатывал еще больше, чем на хорошем. Кроме того, многие ушли на фронт, и он занял ряд освободившихся постов; как все национал-социалисты, он не считал нужным придерживаться норм распределения продовольствия. Из деревни он вывозил вдоволь сала, яиц, птицы, масла и муки, а чего сам не съедал, продавал по завышенным ценам, в полной уверенности, что старому члену партии все сойдет с рук.

Так оно и было – пока не пришла Красная армия. Цахеса арестовали одним из первых. Его уверения, что он вступил в партию только по экономическим соображениям, были чистой правдой, но за много лет он сделался таким корыстолюбивым вредителем и врагом народа, что экономические соображения не могли облегчить его участь. Впрочем, ему опять повезло больше, чем он заслуживал. Вскоре ему была дарована относительная свобода, так как он оказался нужен на местном молокозаводе. Молочное производство Цахес освоил еще в юности и в трудные времена периодически подвизался на молокозаводе, так что лучшей кандидатуры было не сыскать. Волей-неволей пришлось отрядить его на предприятие, хотя никому это не нравилось. Доллю меньше всех. Но чтобы прокормить детей и их матерей, приходилось на время отодвинуть политические интересы.

Так продолжалось некоторое время, пока до ушей бургомистра не дошли кое-какие слухи. Тогда он вызвал бывшего пивовара, а ныне управляющего молокозаводом Цахеса к себе в кабинет.

– Послушайте, Цахес! – обратился он к бледному, но по-прежнему упитанному человеку, который избегал смотреть ему в глаза. – Мне все уши прожужжали, что у вас якобы есть большой тайник с продуктами. Что вы на это скажете?

Цахес принялся уверять, что никакого тайника у него нет – да Долль ничего другого и не ждал. Он, дескать, в свое время добровольно признался, что в саду в семи разных местах

зарыты ящики с вином и шнапсом. Все эти ящики выкопали, а больше ничего у него и не осталось.

Пока Цахес с честнейшим видом все это произносил, Долль пристально наблюдал за ним и наконец сказал:

– Про те семь тайников в городе все знают. Тем не менее упорно ходят слухи, что это лишь малая толика ваших припасов, которые до сих пор не нашли…

– Никаких припасов у меня больше нет, герр обер-бургомистр, – твердо заявил Цахес. – Все, что было, забрали. Больше ничего не осталось.

– Посмотрите мне в глаза, Цахес, и повторите это еще раз!

– Что?.. – Цахеса ошарашило такое необычное требование. – Чего вы хотите?..

– Я хочу, чтобы вы мне – бургомистру, обер-бургомистру, неважно, – еще раз подтвердили, что у вас больше нет тайников – и при этом смотрели мне в глаза!

Но это было Цахесу не под силу. Уже на третьем или четвертом слове его взгляд убежал куда-то в сторону, с трудом воротился на лицо Долля, но тут же снова ускользнул. Цахес смешался, начал запинаться и наконец замолк…

– Да, – медленно проговорил бургомистр после долгой паузы, – теперь я уверен, что вы лжете. Доля правды в слухах есть.

– Ничего подобного, герр обер-бургомистр! Клянусь жизнью матери…

– Да бросьте, Цахес! – с отвращением перебил его Долль. –

Подумайте, призовите на помощь здравый смысл… Вы же всегда были нацистом…

– Только формально, герр обер-бургомистр! Выбора не было – вот я и вступил в эту дрянную партейку. Иначе мне пришлось бы объявить о банкротстве – вот вам крест, герр обер-бургомистр!

– У вас нет ни малейшего шанса получить назад вашу недвижимость, и воспользоваться припрятанным добром вам не удастся! Но дело обстоит вот как, – и Долль принялся увещевать: – Все спрятанное, что я найду как бургомистр, остается, Цахес, нам, немцам. В городе сотни людей, Цахес, у которых нет даже самого необходимого, и вы знаете это не хуже меня. К тому же недавно открылась больница – там лежит уже восемьдесят человек, – как бы взбодрил их бокальчик вина, как бы поднялось у них настроение, если бы мы раздали им хоть немного сигарет! Цахес, будьте же человеком, подумайте раз в жизни не о себе, а о тех, кому приходится гораздо хуже, – помогите им! Только подумайте, какое великодушное пожертвование вы сделаете. Скажите, где ваш тайник!

– Я бы и рад был помочь людям, – ответил толстяк. Он так растрогался, что даже слезы выступили на глазах. – Но у меня больше ничего нет, я говорю вам истинную правду, герр обер-бургомистр! Да не сойти мне с этого места, если у меня осталось что-то в заначке…

– Вы двенадцать лет жили в изобилии и достатке, Цахес, –

продолжал Долль, будто не слышал его пламенных заверений, – и ни разу не подумали о других. Теперь вы испытали на своей шкуре – а ведь вы на заводе всего шесть недель, Цахес, всего шесть недель! – как тяжела непривычная работа, какие страдания причиняет голод. Подумайте о людях, у которых нет вообще ничего. Докажите всему городу, что вас поносят зря, что вы способны на порядочные поступки! Скажите мне, где тайник!

На мгновение Цахес, казалось, заколебался – но тут же опять посыпались заверения и омерзительные клятвы. Битый час возился бургомистр с бывшим пивоваром. Чем дальше, тем больше он убеждался, что у этого человека есть тайник, и, скорее всего, даже крупный, – но добиться от него чего-либо не представлялось возможным. Гниль и разложение разъели его душу. Не помогли и красочные описания той незавидной участи, которая его ждет, если у него таки что-нибудь найдут. Никакой молокозавод его не спасет – засунут в самую темную дыру, посадят на хлеб и воду, и будет он целыми днями таскать тяжеленные мешки с зерном.

– Долго вы не протянете, Цахес, вы слишком опухли от алкоголя! И сахар, поди, не в порядке! Не исключено, что за эту совершенно бесполезную ложь вам придется заплатить собственной жизнью…

Но все уговоры были тщетны – никакие аргументы не могли заставить Цахеса выдать тайник. Он сидел на своих припасах, как злобный хомячок, и готов был скорее сдохнуть,

чем с ними расстаться. Долль впустую потратил целый час – и наконец, пожав плечами, отпустил бывшего пивовара обратно на молокозавод. Он ни минуты не сомневался, что тайник существует и лежит в нем, вероятно, нечто весьма ценное! Однако вскоре бургомистр и думать забыл о пивоваре, с головой погрузившись в более насущные дела.

Как велика и обильна была эта хомячья заначка, Долль узнал всего несколько дней спустя от полицмейстера.

– Сходите на Зеештрассе, герр бургомистр, и посмотрите, как русские трясут цахесовский погреб!

– Так-так! – отозвался Долль с напускным равнодушием, хотя сердце у него разрывалось от гнева и огорчения. – Тайник все-таки нашли? Я был уверен, что он существует, с тех пор как допрашивал этого типа. Собирался и сам пошарить у него в погребе, но руки не дошли…

– Вы бы все равно ничего не нашли, – утешил его полицмейстер. – Этот Цахес уже больше года назад замуровал кладовку для угля – ох уж эти нацисты, не устаешь поражаться, как истово они верили в победу своего фюрера! И никто бы этот тайник не нашел, если б его не выдали.

– Кто же? – поинтересовался Долль.

– Бывшая горничная Цахеса. Она, конечно, думает, что русские ей отсыплют немножко. Ну-ну, пусть дожидается – они тоже не очень-то любят доносчиков!

Но когда Долль чуть позже узнал, как изобильна была хомячья заначка этого заодно-со-всеми-члена Национал-соци-

алистической немецкой рабочей партии, гнев захлестнул его с новой силой, и он потребовал, чтобы Цахеса немедленно, сей же час доставили к нему с молокозавода.

– Ну что, Цахес, – сказал он этому мерзавцу, который, конечно же, все уже знал – ведь подобные новости распространяются по маленьким городкам с быстротой молнии. – Нашли ваш тайник – а ведь всего несколько дней назад вы здесь стояли и клялись жизнью матери, что ничего не прячете. Клятвопреступник, вот вы кто!

Цахес не отвечал: стоял, опустив голову, взгляд метался туда-сюда – лишь бы на бургомистра не смотреть.

– Вы хоть понимаете, какой ущерб причинили городу, да что там – всем немцам? – И бургомистр принялся перечислять: – Фургон табака, сигар и сигарет. Два фургона вина и шнапса – все это украдено у немецкого народа, получено в обход других. Но вы предпочитали лгать и уверять, будто никаких припасов у вас нет, и все приберегали для себя, в соответствии со старым добрым лозунгом вашей партии: частное превыше общего!

Цахес стал еще бледнее, все краски схлынули с его лица; над его головой бушевала буря, но он не произносил ни слова.

– Но и это еще не все. – И Долль продолжил перечислять: – Фургон белья – а у меня для больницы не осталось ни одной простыни, ни одного полотенца. Пять радиоприемников, три пишущие машинки, две швейные, одна лампа «гор-

ное солнце» – а еще целый фургон одежды и прочего барахла. Тьфу нас вас, разоритель, предатель собственного народа, сколько же вы наворовали!..

Долль распалялся все больше – его бесило безответное оцепенение Цахеса. В прошлый раз ему не удалось до него достучаться, не удалось пробудить хоть какие-то человеческие чувства – и опять то же самое!

– Вы не понимаете, – продолжал Долль, овладевая собой, – вы вообще не думаете о том, какой удар вы нанесли по жалким обломкам немецкой репутации, если, конечно, от нее еще хоть что-то осталось! Когда я с протянутой рукой являюсь в комендатуру и жалуюсь, что мне опять нечем накормить малых детей, туберкулезников, тяжелобольных, что мне неоткуда взять койки для больницы, – знаете, что мне там отвечают? «Бургомистр должен изыскивать средства. У немцев все есть – просто они прячут свое добро. Немцы – лгуны и обманщики. Поищи хорошенько, бургомистр!» И выходит, что русские правы! А с какой стати им менять свое мнение о нас, если они находят тайники вроде твоего, мерзавец ты эдакий?! А теперь сотни людей должны мерзнуть дальше, потому что в нужный момент ты не соизволил раскрыть рот, негодяй!

И тут опозоренный и обруганный Цахес все же раскрыл рот, в первый и единственный раз, и фраза, которую он произнес, была достойна настоящего национал-социалиста – она могла родиться только в мозгах члена партии:

– Я бы выдал герру обер-бургомистру свой тайник, если бы он пообещал мне долю, пусть даже небольшую…

Бургомистр Долль остолбенел, потрясенный этим бесстыдным, чудовищным эгоизмом человека, который был совершенно равнодушен к страданиям других – лишь бы самому не страдать. И ему вспомнился недавний разговор с адъютантом коменданта. Адъютант рассказывал, что простые солдаты Красной армии долго думали, будто немцы живут так же, как их собственный народ: что война разорила их до крайности, что они чуть ли не умирают с голоду… Они не видели другого объяснения, почему немцы так безжалостно разоряли их родину. Но по мере наступления, очутившись на немецкой земле, они все увидели собственными глазами: деревни, богатые и благоустроенные, каких у них на родине не осталось, хлева, в которых теснился откормленный скот, здоровое, сытое сельское население. И в крепких каменных домах этих крестьян они обнаружили не только огромные радиоприемники, холодильники, всяческие удобства – нет, среди всего этого великолепия нашлись самые простенькие, дешевенькие швейные машинки из Москвы, пестрые платки с Украины, иконы из русских церквей – сплошь награбленное, наворованное добро. Зажиточные хозяева отнимали последнее у бедняков. И тогда в солдатах Красной армии вспыхнула ненависть и глубокое презрение к этому народу, который не ведал стыда, не желал обуздывать свою алчность, стремился все захапать, все загрести под себя – и

пусть остальные пропадают.

Типичный представитель этого народа стоял сейчас перед бургомистром. Удивляться было нечему: в конечном итоге им было совершенно все равно, кого обречь на гибель – русских или немцев. Они не чувствовали никакой общности со своим народом, хотя эта самая общность возводилась в один из основных принципов их партии. Из всего они хотели извлечь выгоду, на всем нажиться, и не важно, сколько тысяч людей придется загубить. Много их нынче развелось, таких цахесов. И Долль велел полицмейстеру увести бывшего пивовара и посадить в самую дрянную камеру, на хлеб и воду. На молокозавод придется подыскать кого-нибудь другого. А этот предатель собственного народа пусть под строжайшим надзором целыми днями таскает тяжеленные мешки – авось долго он так не протянет!

Цахеса увели; больше Долль его не видел и не знал, что с ним сталось. Потому что вскоре после этого Долль заболел – и его болезнь была не в последнюю очередь спровоцирована этими переживаниями.

Когда за подлецом закрылась дверь, бургомистр остался один в кабинете. Он сидел за столом, подперев голову рукой. Он чувствовал, что его ярость выдохлась и душу наполняет тихое, невыразимое отчаяние. С яростью легче было справиться, чем с этим отчаянием, в котором не было ни проблеска надежды. К полной своей неожиданности, он обнаружил, что в этом отчаянии растворилась и его ненависть. Он

постарался припомнить все то зло, которое причинили ему нацисты: многолетние преследования, арест, слежка, угрозы, бесчисленные запреты. Тщетно: он больше не испытывал к ним ненависти. Более того: он понял, что ненависть испарилась давно. Когда он производил конфискации у членов партии, держался сурово и безжалостно, он просто выполнял свой долг. С тихим ужасом он осознавал, что в домах людей, которые в партии никогда не состояли, он вел себя точно так же. Всех, всех их он в равной степени презирал. Он не мог ненавидеть тех, кого считал всего-навсего мелкими, злобными зверьками – так, именно так смотрели первые русские солдаты на него и его жену, так и он теперь смотрел на всех немцев.

Но ведь он и сам из той же стаи, он сам немец – слово, которое во всем мире давно превратилось в ругательство. Он один из них, и ничто не отличает его от соотечественников. Как в старой поговорке, которая и по сей день не устарела: с волками жить – по-волчьи выть. Он тоже вкушал ворованного хлеба из разоренных земель – и теперь должен за это ответить! О да, он не мог их больше ненавидеть хотя бы потому, что сам был одним из них. Ему осталось только бессильное презрение – и себя он презирал не меньше всех прочих.

Как ему говорили в комендатуре? Все немцы лгут и обманывают. Цепочка случайностей привела к тому, что он сделался бургомистром провинциального городка, и на этом посту он ежедневно убеждался: русские, увы, правы. На него

нахлынули воспоминания: он снова видел пришедшую к нему на прием женщину, мать двоих маленьких детей. По ее лицу катились слезы: ее дом в Берлине разбомбили, и у нее не осталось буквально ничего – ни кроватки, ни кастрюльки, ни одежды для детей. «Сжальтесь, герр бургомистр, вы не можете просто прогнать меня! С пустыми руками я к детям не вернусь!»

У бургомистра тоже ничего не было, но он все же изловчился помочь. Нашел членов партии, у которых требуемого было в избытке, и уделил от этого избытка просительнице – не то чтобы много, но достаточно. А на следующий день перед ним стояла уже другая женщина, соседка той, которую он только что облагодетельствовал, тоже мать, тоже очень бедная: оказалось, что особа, ради которой он так старался, которую всем обеспечил, ночью стащила у соседки несколько тряпок с веревки! Немцы против немцев, каждый за себя, наперекор всем и всему.

Вспомнился бургомистру и извозчик, которого наняли перевезти вещи парализованного старика в дом престарелых, но когда он дотуда добрался, все, что еще было пригодно к употреблению, с телеги исчезло – то ли сам извозчик украл, то ли, как он утверждал, прохожие растащили. Немцы против немцев!..

Подумал он и о подлеце враче, который, стремясь отомстить за какие-то старые обиды, признал больную женщину здоровой и пригодной к тяжелой работе, – этот врач щедро

раздавал дефицитные лекарства своим друзьям, но оставлял без помощи тех, кто был ему безразличен и тем паче враждебен. Ну и что, что они страдают – пусть страдают дальше! Немцы против немцев!

Он вспоминал, как люди крали друг у друга лошадей из стойла, птицу, с большим трудом откормленных кроликов, как они проникали на соседские огороды, выдергивали из земли овощи и рвали с деревьев недоспелые плоды, ломая при этом плодоносящие ветки – не для какой-то своей пользы, а просто чтобы напакостить ближнему. Словно выпустили на волю орду сумасшедших, которые, руководствуясь своими безумными хотениями, творили что в голову взбредет. Он знал, как они доносят друг на друга, как бросаются бессмысленными, лживыми обвинениями, рассыпающимися при первой же проверке и придуманными просто по злобе, чтобы нагнать на соседей страху – пускай боятся! Немцы против немцев!..

Долль сидел за бургомистерским столом, обхватив голову руками, и было в этой голове совершенно пусто. Как наивно было думать, что мир только и ждет, как бы помочь немцам выбраться из грязи, из этой жуткой воронки, в которую их швырнула война. И не менее наивно было полагать, будто он, Долль, чем-то отличается от своих соотечественников: он тоже всего-навсего мелкий злобный зверек, как и все они. Ему не подавали руки, сквозь него смотрели как сквозь стену.

И правильно делали: немцы, все и каждый из них, достой-

ны ненависти и презрения. Долль тоже кое-кого ненавидел, например старого ветеринара Виллема-порося, а также скопом нацистов, всех до одного. Но теперь его ненависть – и общая, и частная – иссякла: ведь он был не менее достоин ненависти, чем те, кого он ненавидел.

Ничего не осталось, Долль был опустошен – и им овладела глубокая апатия. Эта апатия, постоянно подстерегавшая его на протяжении последних месяцев, но на время заглушенная навязанной ему активной работой на бургомистерском посту, наконец-то прорвалась и завладела им. Он смотрел поверх стола, заваленного бумагами, его поджидали десятки срочных дел – но какой во всем этом смысл?.. Немцы обречены на гибель, и он в том числе! Все усилия тщетны!

В дверь заглянула секретарша:

– Пришли из комендатуры – вас срочно вызывают к коменданту, герр бургомистр!

– Да, хорошо, – отозвался он. – Сейчас иду…

Но никуда не пошел, а остался сидеть за столом; секретарша еще несколько раз напоминала ему о коменданте. Не то чтобы он думал о чем-то определенном, не то чтобы пытался побороть апатию – этот путь тоже бессмыслен, все пути бессмысленны, так как все ведут немцев в никуда…

Нет, он просто сидел, и никаких внятных соображений не было в его голове. Если бы он взялся описывать свое душевное состояние, то, наверное, сказал бы, что внутри у него клубился туман – серый, густой туман, в котором не видно

ни зги и не слышно ни звука. И больше ничего…

Наконец – поддавшись настойчивым уговорам секретарши – он поднялся и отправился в комендатуру, просто потому, что ходил туда уже сотни раз. Это было ничуть не лучше и не хуже всего прочего, что он сейчас мог сделать. Пойдет он в комендатуру или нет, больше не имело значения. Ничто больше не имело значения – даже сам герр доктор Долль. Поражена была самая сердцевина его существа, и инстинкт самосохранения отказал.

Вскоре после этого бургомистр Долль серьезно заболел – и перестал быть бургомистром. Его жена, которой тоже нездоровилось, отправилась с ним в районную больницу…

Глава 5
Прибытие в Берлин

1 сентября этого беспощадного 1945 года герр и фрау Долль прибыли в Берлин. Они почти два месяца пролежали в больнице и по-прежнему были далеки от выздоровления. Но они боялись, что если еще промедлят, то потеряют берлинскую квартиру.

Поезд, который должен был отходить в полдень, тронулся только с наступлением сумерек; несмотря на разбитые окна и загаженные купе, он был переполнен. Набившиеся в неосвещенные вагоны люди были настроены агрессивно, взрывались от любого слова и каждого соперника в борьбе за сидячее место воспринимали как личного врага.

Доллям удалось занять два места, но к ним тут же кто-то подсел, а вокруг со всех сторон обступили те, кому мест не досталось. Ящики били по ногам, рюкзаки больно задевали по лицу. В кромешной тьме ничего не было видно, но ненависть всех ко всем витала в воздухе и ощущалась даже сквозь отвратительный запах, который, несмотря на разбитые окна, из купе не выветривался. Вонь была адская, и она только усиливалась по мере того, как на станциях подсаживались все новые и новые пассажиры, с огромным трудом вбивавшиеся в плотную толпу и проклинавшие каждого, кому удалось сесть.

Эти люди, подсаживавшиеся по дороге, были в основном грибники из Берлина – свои корзины они запросто ставили сидящим на колени, мрачно буркнув, что, дескать, потом заберут. Но поскольку в купе и так было не повернуться, выходило, что корзины больше и девать-то некуда: у фрау Долль на коленях ехали четыре штуки, у Долля – три.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.